ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

А. П. Чехов

ЛОШАДИНАЯ ФАМИЛИЯ



Лошадиная фамилия. Рассказы и водевили

Антон Павлович Чехов

Аннотация
Антон Павлович Чехов. Лошадиная фамилия. Рассказы и водевили
Антон Павлович Чехов (1860–1904)
Рассказы
- Пересолил
- Толстый и тонкий
- Смерть чиновника
- Хамелеон
- Унтер Пришибеев
- Восклицательный знак. (Святочный рассказ)
- Лошадиная фамилия
- Хирургия
- Дорогая собака
- Размазня
- Шуточка
- Дочь Альбиона
- Свадьба с генералом. (Рассказ)
- Налим
- Злоумышленник
- Ванька

Мальчики
Беглец
Каштанка
Глава первая. Дурное поведение
Глава вторая. Таинственный незнакомец
Глава третья. Новое, очень приятное знакомство
Глава четвертая. Чудеса в решете
Глава пятая. Талант! Талант!
Глава шестая. Беспокойная ночь
Глава седьмая. Неудачный дебют
Белолобый
Произведение искусства
В аптеке
На мельнице
Переполох
Тоска
Беззащитное существо
Жалобная книга
Водевили
Предложение. Шутка в одном действии
I
II
III
IV
V

VI
VII
Юбилей. Шутка в одном действии
Медведь. Шутка в одном действии
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Аннотация

В книгу вошли юмористические рассказы и водевили Антона Павловича Чехова: «Пересолил», «Толстый и тонкий», «Хирургия», «Налим», «Предложение», «Юбилей» и другие.

Для среднего школьного возраста.



Антон Павлович Чехов
Лошадиная фамилия. Рассказы и водевили

Антон Павлович Чехов (1860–1904)

Короткий зимний день подходил к концу. Ученик третьего класса таганрогской гимназии Антоша Чехов готовил уроки. Перед ним на столе лежала раскрытая латинская грамматика, в медном подсвечнике мигала сальная свеча, по углам ползли тени. Было тихо, тепло. Антоша неторопливо снял щипцами нагар со свечи, написал в тетради число. В это время в комнату вошел отец Павел Егорович, в шубе, в больших кожаных калошах, и сказал:

— Ступай в лавку.

Антоша не пробовал возражать: он заранее знал, что ничего из этого не выйдет, закрыл грамматику и пошел за отцом.

Небольшая бакалейная лавка с большой вывеской над входом: «Чай, сахар, кофе и другие колониальные товары» — помещалась в том же доме, внизу. Открыта она была с пяти часов утра до одиннадцати ночи, и, когда отец куда-нибудь уходил, в лавке по очереди сидели дети. Детей было шестеро: пять сыновей и одна дочь. Антоша

сел за конторку, но в лавке холодно, чернила замерзли, и уроков делать нельзя. Он съежился, запихнул руки в рукава так же, как Андрюша и Гаврюша, его ровесники и друзья, которых недавно привезли из деревни и отдали Павлу Егоровичу в «ученье на года». И хоть Антоша — хозяйский сын, получает деньги с покупателей, присматривает за мальчиками, но его наказывают так же, как их. Все трое чувствуют себя одинаково несчастными.

Павел Егорович сам когда-то прошел тяжелую школу, тоже был «мальчиком» в лавке, унижался, угождал хозяевам, терпел побои. Он искренне верил в то, что детей нужно наказывать для их же пользы, и говорил: «Меня так же учили, а я, видишь, вышел в люди».

Когда Антоше исполнилось восемь лет, его отдали в гимназию, где уже учились старшие братья. Антоше не нравилась гимназия. Веселому, подвижному мальчику неуютно было в больших холодноватых классах, скучно было сидеть на уроках. Классы выходили в полутемные коридоры; в каждой двери было круглое окошко; надзиратель, как часовой, шагал по коридору и заглядывал в окошки — следил за поведением учащихся.

В театр разрешалось ходить только с родителями в праздничные дни, но братья Чеховы в театре бывали часто; они переодевались, наклеивали бороды, усы, надевали синие очки и старались прошмыгнуть мимо надзирателя на галерку. «Для меня не было большего наслаждения, как сидеть в театре», — вспоминал Чехов. Дома Антоша постоянно кого-то изображал: зубного врача, важного чиновника, танцующего на балу, старого профессора. А как-то загримировался, переоделся нищим, написал жалобное письмо и пошел к дяде. Дядя не узнал племянника, разжалобился и подал ему три копейки.

Антоша был неистощим на выдумки, да и все братья Чеховы любили шутку, понимали ее, умели смеяться; казалось, смех, веселая, озорная шутка защищали их от всего тяжелого, что было в их жизни.

Зима обычно тянулась долго; Антоша с нетерпением ждал, когда с моря перестанет дуть сердитый ветер, загорится жаркое солнце, зацветет акация и прекрасная необозримая степь покроется серебристой полынью, голубыми цветами цибульки. Мальчики убегали в степь, к морю, купались, удили рыбу, ездили с матерью в гости к деду на далекий степной хутор. Мать

свою, Евгению Яковлевну, дети очень любили. Она как-то умела смягчать суровый нрав отца, вносила в их жизнь много ласки, уюта, умела объединить семью, сплотить ее вокруг себя. «Для нас дороже матери ничего не существует», — писал Антоша, когда стал постарше.

Антоше было четырнадцать лет, когда старшие братья, Александр и Николай, окончили гимназию и уехали учиться в Москву. Через год туда же переехала вся семья.

Антон и брат Иван остались в Таганроге: им надо было заканчивать гимназию.

Дом Чеховых был продан за долги. Новый хозяин предложил Антоше угол за уроки, которые он должен был давать его племяннику. Иван переехал к тетке, и Антоша остался один в родном доме, который стал чужим для него. Теперь он уже не сидел в лавке, никто не наказывал его, но жить было еще труднее. Новые заботы легли на его плечи: надо было самому заботиться о себе, платить за учение, помогать родным, которые очень нуждались в Москве. Знакомые помогли ему достать несколько уроков, и после занятий в гимназии он ходил по урокам, занимался с детьми — репетировал их. Один урок был далеко на окраине города. Осенью там стояла

непролазная грязь. Калош у Антоши не было, и, садясь заниматься с учеником, он старался спрятать под стол свои грязные рваные сапоги. Как-то Антоша, узнав, что одному из товарищей живется еще хуже, предложил заниматься с учеником по очереди и разделил с товарищем свой заработок — три рубля в месяц. Бедность, как говорил Чехов, мучила его тогда, как зубная боль. Он очень скучал без семьи, особенно без братьев; близких друзей в Таганроге у него не было. Антон по-прежнему увлекался театром, много читал. В гимназии издавались рукописные журналы, и он сотрудничал в этих журналах и посылал старшим братьям свои литературные опыты, а братья беспощадно критиковали эти первые произведения молодого писателя. Самостоятельная одинокая жизнь давалась Антоше нелегко. В борьбе с трудностями он становится мужественнее, взрослее.

Так прошло три года. Антоша окончил гимназию и уехал в Москву. Родных своих застал он в тяжелом положении, в сырой и холодной квартире подвального этажа. Отец зарабатывал очень мало, мать шила, старшие братья учились и время от времени работали в журналах: Александр писал рассказы, очерки, Николай рисовал.

Даже младший брат, Михаил, переписывал за деньги студенческие лекции. Но денег все-таки не хватало, и в гимназию за сестру Машу платили какие-то благодетели.

Антону было уже девятнадцать лет; он поступил в университет на медицинский факультет. Учился он много, усердно, с большим интересом слушал лекции знаменитых профессоров: Тимирязева, Склифосовского. Но ему нельзя было только учиться — приходилось зарабатывать деньги, чтобы помогать семье. И вот он решил послать в журнал очень коротенький и смешной рассказ, который назывался «Письмо донского помещика к ученому соседу д-ру Фридриху». Конечно, Антон очень волновался, пока пришел ответ. А ответ был такой: «Совсем недурно. Присланное поместим...» Через два месяца рассказ напечатали. Это был первый напечатанный рассказ Чехова и первый его литературный заработок.

С тех пор рассказы Чехова стали часто появляться в журналах. Подписывал он их не своим настоящим именем, а разными псевдонимами, чаще всего «Антоша Чехонте» — прозвище, которое дал ему один из учителей таганрогской гимназии. Чего только не писал Чехов в эти

первые годы своей литературной работы: заметки, анекдоты, подписи к рисункам, очерки, рассказы. Брат Николай — хороший художник — иногда рисовал к его рассказам иллюстрации. Писать приходилось часто по ночам: днем надо было учиться. Платили за работу очень мало, несколько копеек за строчку, да и за этими заработанными грошами приходилось ходить в редакции раз по десять. Но зато как был счастлив Антон и как радовалась мать, когда он однажды сказал, что сам теперь будет платить за учение сестры Маши.

Студенческие годы подошли к концу. Когда Чехов окончил университет и получил диплом врача, ему было двадцать четыре года. На входных дверях чеховской квартиры появилась вывеска: «Доктор А. П. Чехов». Стали приходить больные; практики было много, но половина больных лечилась у Чехова бесплатно — это все были знакомые или такие же бедняки, как он сам. «Я врач и по уши втянулся в медицину», — говорил Чехов, и он был, как вспоминали товарищи по работе, превосходным врачом, вдумчивым, терпеливым, добросовестным. Но доктор Чехов не бросал своих литературных занятий, он продолжал писать, и скоро вышел первый сборник

рассказов Антоши Чехонте. Когда много лет спустя один из друзей спросил, сколько Чехов написал рассказов в первые годы своей работы, он ответил: «Около тысячи».

Рассказы Чехова почти всегда очень короткие. «Умею коротко говорить о длинных вещах», — как-то сказал о себе Чехов. Вы прочтете в этой книжке рассказ «Ванька». Как много говорит нам этот небольшой рассказ! Перед нами как бы проходит вся нерадостная Ванькина жизнь и в деревне с дедушкой, и в мастерской у сапожника. И невольно думаем мы о всех тех детях, которым жилось так же трудно, как Ваньке, в то далекое время, которое уже никогда не вернется. Думаем и о том, как крепко, по-настоящему любил Чехов детей, если мог написать такие рассказы, как «Ванька», «Беглец», «Мальчики», и еще много других рассказов о детях. Маленького беглеца Чехов, должно быть, лечил, когда работал в деревенской больнице; а как по-хорошему, весело, с какой доброй любовью посмеялся он над мальчиками Чечевицыным и Володей, которые собрались бежать в Америку!

Но не всегда весело смеялся Чехов; очень часто рассказы его, как будто бы простые и обыкновенные, о простых и обычных делах и днях, только

кажутся смешными. Стоит немного подумать над ними, заглянуть в них поглубже, и становится грустно. Вот рассказ «Лошадиная фамилия». Конечно, очень смешно рассказал Чехов о том, как весь дом вспоминал лошадиную фамилию того человека, который умеет заговаривать зубы. Но подумайте хорошенько, и за этим смешным рассказом вы увидите такую скучную и серую жизнь, таких грубых, невежественных людей, что, уж наверное, никому из вас не захотелось бы жить с ними.

Прошло несколько лет. Все больше и больше понимал Чехов, что настоящее его призвание не медицина, а литература. Однажды Чехов получил письмо от Дмитрия Васильевича Григоровича — известного писателя, автора многих хороших повестей, рассказа «Гуттаперчевый мальчик», который вы все знаете. Григорович писал о том, как поразили его маленькие рассказы Чехова, приветствовал его большой талант. Письмо это обрадовало и взволновало Чехова. Хотелось писать лучше, больше, написать что-нибудь особенно значительное. И Чехов задумал небольшую повесть о том, что дорого было ему с самого детства, — о степи, о степных людях, птицах, ночных грозах. Он уехал в Таганрог, чтобы снова

увидеть степь, освежить свои детские впечатления. И снова, как в детстве, степь восхитила его. «Пахнет степью, и слышно, как поют птицы. Вижу старых приятелей — коршунов, летающих над степью», — писал Чехов из Таганрога. И, вернувшись в Москву, написал чудесную поэтическую повесть о родной степи, о маленьком Егорушке, который впервые едет по степи и, может быть, немного похож на самого Чехова, каким он был в детстве.

«Голубчик, Антон Павлович!.. — писал ему поэт Плещеев, прочитав повесть. — Не мог оторваться, начавши читать... Это такая прелесть, такая бездна поэзии, что я ничего другого сказать вам не могу и никаких замечаний не могу сделать — кроме того, что я в безумном восторге...»

Но вам пока еще не совсем будет понятна и эта повесть «Степь», и очень многие рассказы и пьесы Чехова. Пройдет несколько лет, вы станете старше и поймете тогда, какой великий писатель и удивительный человек был Чехов, как любил он свою родину, простых русских людей. «Как богата Россия хорошими людьми», — говорил он.

И сам Чехов был вот таким хорошим человеком русской земли, скромным, большим тружеником, одним из самых любимых писателей России. Но

если кто-нибудь при нем заговаривал об этом, он смущенно улыбался и уверял, что он самый обыкновенный «добросовестный литератор», что ему надо еще много учиться, больше путешествовать. Путешествовал он очень много: бывал за границей, знал Крым, Кавказ, объездил всю Украину. Он говорил, что писатель должен хорошо знать свою родину, всегда узнавать новые места, новых людей. И он решил ехать на остров Сахалин, посмотреть, как живут там люди, — в те годы Сахалин был местом ссылки. Путешествие предстояло трудное. Сибирской железной дороги еще не было, и Чехову пришлось плыть по рекам на пароходах, трястись в тарантасе по «убийственным дорогам» несколько тысяч верст. Чем ближе подъезжал он к Сахалину, тем больше восхищался дикой природой края и всё время жалел, что не поехал с ним друг его, художник Левитан, которого он считал лучшим пейзажистом.

На Сахалине Чехов пробыл всего три месяца и за это время проделал огромную работу: объездил все поселения, заходил во все избы, разговаривал с жителями, переписал все население острова — десять тысяч карточек, заполненных рукой Чехова, хранятся в музеях и архивах писателя. В Москву вернулся он усталый, больной, но очень

довольный своей поездкой. Через несколько лет появилась книга «Остров Сахалин»; до Чехова никто никогда не писал такой суровой правды о тогдашнем «сахалинском аде».

Шли годы.

Чехов неутомимо работал, писал рассказы, повести, пьесы, снова мечтал о поездках по стране. Но он уже давно был тяжело болен туберкулезом легких, и врачи запретили ему путешествовать, жить на севере.

И вот Чехов с матерью и сестрой в Ялте. Сестра, та самая маленькая Маша, за которую он студентом платил в гимназию, теперь взрослая. Очень рано поняла она, какой замечательный писатель Чехов, беззаветно любила брата и делала все, чтобы он мог спокойно жить и работать. Отца уже не было в живых. Чеховы жили на окраине Ялты, в белом двухэтажном доме. Вокруг пустырь, камни, чертополох. С ранней весны Чехов работал на пустыре: сажал деревья, разбивал цветники — ему нравилось украшать землю. «Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и чертополохе, — говорил он, — а я вот пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место… Знаете ли… через триста — четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад, и жизнь

будет тогда необыкновенно легка и удобна». Но Чехов тосковал по северу, по мокрым полям и перелескам, по обрывистым берегам, заросшим кустарником. Тосковал по Москве, по людям, по Художественному театру, где в эти годы шли его пьесы, по жене — артистке Ольге Леонардовне Книппер. «Приходится делать над собою усилие, чтобы жить здесь изо дня в день и не роптать на судьбу», — писал он.

В ялтинском доме всегда было много посетителей. Часто приезжали поговорить, посоветоваться с любимым писателем те простые русские люди, о которых он так много писал, — учителя, врачи, ученые... Однажды Чехов пришел с прогулки очень веселый, это с ним редко случалось в последние годы. «У меня была сейчас чудесная встреча! — сказал он. — На набережной вдруг подходит ко мне офицер-артиллерист, совсем молодой еще, подпоручик. «Вы Антон Павлович Чехов?» — «Да, это я. Что вам угодно?» — «Извините меня за навязчивость, но мне так давно хочется пожать вашу руку!» И покраснел. Такой чудесный малый, и лицо милое. Пожали мы друг другу руки и разошлись».

Так часто совсем незнакомые люди благодарили Чехова за ту радость, которую доставляли им

его рассказы.

Как-то зимой приехал в Ялту Левитан — друг всей семьи Чеховых. Дул холодный ветер, в саду шумели кипарисы, в кабинете у Чехова горел камин. Левитан сидел в кресле перед камином. Чехов ходил по комнате, чуть сгорбившись, медленно. Глаза у него были усталые, и говорил он о том, как хочется ему на север — посмотреть березки, поле, лес... Тогда Левитан попросил кусок картона, и Чехов смотрел, как под удивительной кистью художника оживает поле, темнеет полоска леса вдали, стоят под луной стога сена. Это была земля, на которой он родился, жил, которой отдал все свои силы.

Н.Шер

Рассказы





Пересолил



Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию «Гнилушки». До усадьбы, куда он был вызван для межевания, оставалось еще проехать на лошадях верст тридцать — сорок. (Ежели возница не пьян и лошади не клячи, то и тридцати верст не будет, а коли возница с мухой да кони наморены, то целых пятьдесят наберется.)

— Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь почтовых лошадей? — обратился землемер к станционному жандарму.

— Которых? Почтовых? Тут за сто верст путевой собаки не сыщешь, а не то что почтовых… Да вам куда ехать?

— В Девкино, имение генерала Хохотова.

— Что ж? — зевнул жандарм. — Ступайте за станцию, там на дворе иногда бывают мужики, возят пассажиров.

Землемер вздохнул и поплелся за станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и колебаний,

он нашел здоровеннейшего мужика, угрюмого, рябого, одетого в рваную сермягу и лапти.

— Черт знает какая у тебя телега! — поморщился землемер, влезая в телегу. — Не разберешь, где у нее зад, где перед…

— Что ж тут разбирать-то? Где лошадиный хвост, там перед, а где сидит ваша милость, там зад…

Лошаденка была молодая, но тощая, с растопыренными ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялся и стегнул ее веревочным кнутом, она только замотала головой, когда же он выбранился и стегнул ее еще раз, то телега взвизгнула и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара телега покачнулась, после же четвертого она тронулась с места.

— Этак мы всю дорогу поедем? — спросил землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских возниц соединять тихую, черепашью езду с душу выворачивающей тряской.

— До-о-едем! — успокоил возница. — Кобылка молодая, шустрая… Дай ей только разбежаться, так потом и не остановишь… Но-о-о, прокля-атая!

Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землемера тянулась темная

замерзшая равнина, без конца и краю… Поедешь по ней — так наверно заедешь к черту на кулички. На горизонте, где она исчезала и сливалась с небом, лениво догорала холодная осенняя заря… Налево от дороги в темнеющем воздухе высились какие-то бугры, не то прошлогодние стоги, не то деревня. Что было впереди, землемер не видел, ибо с этой стороны все поле зрения застилала широкая, неуклюжая спина возницы. Было тихо, но холодно, морозно.

«Какая, однако, здесь глушь! — думал землемер, стараясь прикрыть свои уши воротником от шинели. — Ни кола ни двора. Не ровён час — нападут и ограбят, так никто и не узнает, хоть из пушек пали… Да и возница ненадежный… Ишь какая спинища! Этакое дитя природы пальцем тронет — так душа вон! И морда у него зверская, подозрительная».

— Эй, милый, — спросил землемер, — как тебя зовут?

— Меня-то? Клим.

— Что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят?

— Ничего, Бог миловал… Кому ж шалить?

— Это хорошо, что не шалят… Но на всякий случай все-таки я взял с собой три револьвера, —

соврал землемер. — Ас револьвером, знаешь, шутки плохи. С десятью разбойниками можно справиться...



Стемнело. Телега вдруг заскрипела, завизжала, задрожала и, словно нехотя, повернула налево.

«Куда же это он меня повез? — подумал землемер. — Ехал все прямо и вдруг налево. Чего доброго, завезет, подлец, в какую-нибудь трущобу и… и… Бывают ведь случаи!»

— Послушай, — обратился он к вознице. — Так ты говоришь, что здесь не опасно? Это жаль… Я люблю с разбойниками драться… На вид-то я худой, болезненный, а силы у меня, словно у быка… Однажды напало на меня три разбойника… Так что ж ты думаешь? Одного я так трахнул, что… что, понимаешь, Богу душу отдал, а два другие из-за меня в Сибирь пошли на каторгу. И откуда у меня сила берется, не знаю… Возьмешь одной рукой какого-нибудь здоровилу, вроде тебя, и… и сковырнешь.

Клим оглянулся на землемера, заморгал всем лицом и стегнул по лошаденке.

— Да, брат… — продолжал землемер. — Не дай бог со мной связаться. Мало того что разбойник без рук, без ног останется, но еще и перед судом ответит… Мне все судьи и исправники знакомы. Человек я казенный, нужный… Я вот еду, а начальству известно… так и глядят, чтоб мне кто-нибудь худа не сделал. Везде по дороге за ку-

стиками урядники да сотские понатыканы… По… по… постой! — заорал вдруг землемер. — Куда же это ты въехал? Куда ты меня везешь?

— Да нешто не видите? Лес!

«Действительно, лес… — подумал землемер. — А я-то испугался! Однако не нужно выдавать своего волнения… Он уже заметил, что я трушу. Отчего это он стал так часто на меня оглядываться? Наверное, замышляет что-нибудь… Раньше ехал еле-еле, нога за ногу, а теперь ишь как мчится!»

— Послушай, Клим, зачем ты так гонишь лошадь?

— Я ее не гоню. Сама разбежалась… Уж как разбежится, так никаким средством ее не остановишь… И сама она не рада, что у ней ноги такие.

— Врешь, брат! Вижу, что врешь! Только я тебе не советую так быстро ехать. Попридержи-ка лошадь… Слышишь? Попридержи!

— Зачем?

— А затем… затем, что за мной со станции должны выехать четыре товарища. Надо, чтоб они нас догнали… Они обещали догнать меня в этом лесу… С ними веселей будет ехать… Народ здоровый, коренастый… у каждого по пистоле-

ту… Что это ты все оглядываешься и движешься, как на иголках? А? Я, брат, тово… брат… На меня нечего оглядываться… интересного во мне ничего нет… Разве вот револьверы только… Изволь, если хочешь, я их выну, покажу… Изволь…

Землемер сделал вид, что роется в карманах, и в это время случилось то, чего он не мог ожидать при всей своей трусости. Клим вдруг вывалился из телеги и на четвереньках побежал к чаще.

— Караул! — заголосил он. — Караул! Бери, окаянный, и лошадь и телегу, только не губи ты моей души! Караул!

Послышались скорые удаляющиеся шаги, треск хвороста — и все смолкло… Землемер, не ожидавший такого реприманда[1], первым делом остановил лошадь, потом уселся поудобней на телеге и стал думать.

«Убежал… испугался, дурак… Ну, как теперь быть? Самому продолжать путь нельзя, потому что дороги не знаю, да и могут подумать, что я у него лошадь украл… Как быть?»

— Клим! Клим!

«Клим!..» — ответило эхо.

От мысли, что ему всю ночь придется просидеть

---

[1] Примечания: 1

Репримáнд — неожиданность (*устар.*).

в темном лесу на холоде и слышать только волков, эхо да фырканье тощей кобылки, землемера стало коробить вдоль спины, словно холодным терпугом.

— Климушка! — закричал он. — Голубчик! Где ты, Климушка?

Часа два кричал землемер, и только после того, как он охрип и помирился с мыслью о ночевке в лесу, слабый ветерок донес до него чей-то стон.

— Клим! Это ты, голубчик? Поедем!

— У… убьешь!

— Да я пошутил, голубчик! Накажи меня Господь, пошутил! Какие у меня револьверы! Это я от страха врал! Сделай милость, поедем! Мерзну!

Клим, сообразив, вероятно, что настоящий разбойник давно бы уж исчез с лошадью и телегой, вышел из лесу и нерешительно подошел к своему пассажиру.

— Ну, чего, дура, испугался? Я… я пошутил, а ты испугался… Садись!

— Бог с тобой, барин, — проворчал Клим, влезая в телегу. — Если б знал, и за сто целковых не повез бы. Чуть я не помер от страха…

Клим стегнул по лошаденке. Телега задрожала. Клим стегнул еще раз, и телега покачнулась. После четвертого удара, когда телега тронулась

с места, землемер закрыл уши воротником и задумался. Дорога и Клим ему уже не казались опасными.

Толстый и тонкий

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флёр-доранжем[2]. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.

— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого. — Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

— Батюшки! — изумился тонкий. — Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.

— Милый мой! — начал тонкий после лобы-

---

[2] Примечания: 2

Флёрдора́нж — белые цветы померанцевого дерева.

зания. — Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, Господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь… Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах… лютеранка… А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!

Нафанаил немного подумал и снял шапку.

— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий. — Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо… Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе… А это моя жена, урожденная Ванценбах… лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга. — Служишь где? Дослужился?

— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава[3] имею. Жалованье

---

[3] Примечания: 3

Станислав — орден Святого Станислава.

плохое… ну да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству… Здесь буду служить. Ну а ты как? Небось уже статский? А?

— Нет, милый мой, поднимай повыше, — сказал толстый. — Я уже до тайного дослужился… Две звезды имею.



Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился… Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились… Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира…

— Я, ваше превосходительство… Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

— Ну полно! — поморщился толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!

— Помилуйте… Что вы-с… — захихикал тонкий, еще более съеживаясь. — Милостивое внимание вашего превосходительства… вроде как бы живительной влаги… Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил… жена Луиза, лютеранка, некоторым образом…



Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «Хи-хи-хи!»

Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.

Смерть чиновника

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор[4], Иван Дмитрии Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя наверху блаженства. Но вдруг… В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось… Он отвел от глаз бинокль, нагнулся и… апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков

[4] Примечания: 4

Экзеку́тор — чиновник в учреждении, ведавший хозяйственной частью.

узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения.

«Я его обрызгал! — подумал Червяков. — Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:

— Извините, вашество, я вас обрызгал… я нечаянно…

— Ничего, ничего…

— Ради Бога, извините. Я ведь… я не желал!

— Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:

— Я вас обрызгал, вашество… Простите… Я ведь… не то чтобы…

— Ах, полноте… Я уж забыл, а вы всё о том же! — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах, — подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. — И говорить не хочет. Надо бы ему

объяснить, что я вовсе не желал… что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чужой», успокоилась.

— А все-таки ты сходи, извинись, — сказала она. — Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!

— То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно… Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.

На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Бризжалову объяснить… Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.

— Вчера в «Аркадии», ежели припомните, вашество, — начал докладывать экзекутор, — я чихнул-с и… нечаянно обрызгал… Изв…

— Какие пустяки… Бог знает что! Вам что угодно? — обратился генерал к следующему про-

сителю.

«Говорить не хочет! — подумал Червяков, бледнея. — Сердится, значит… Нет, этого нельзя так оставить… Я ему объясню…»

Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:

— Вашество! Ежели я осмеливаюсь беспокоить вашество, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!

Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.

— Да вы просто смеетесь, милостисдарь! — сказал он, скрываясь за дверью.

«Какие же тут насмешки? — подумал Червяков. — Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.

— Я вчера приходил беспокоить вашество, — забормотал он, когда генерал поднял на него

вопрошающие глаза, — не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с… а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам… не будет…

— Пошел вон!! — гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.

— Что-с? — спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.

— Пошел вон!! — повторил генерал, затопав ногами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся… Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и… помер.

Хамелеон

Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина… На площади ни души… Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.

— Так ты кусаться, окаянная? — слышит вдруг Очумелов. — Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А-а-а!

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку на задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.

— Никак, беспорядок, ваше благородие!.. — го-

ворит городовой.

Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписаный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!»– да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала — белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

— По какому это случаю тут? — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. — Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?

— Иду я, ваше благородие, никого не трогаю… — начинает Хрюкин, кашляя в кулак. — Насчет дров с Митрий Митричем, — и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец… Вы меня извините, я человек, который работающий… Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому — я этим пальцем, может, неделю не пошевельну… Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари

терпеть… Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете…

— Гм!.. Хорошо… — говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. — Хорошо… Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу кузькину мать!.. Елдырин, — обращается надзиратель к городовому, — узнай, чья это собака, и составляй протокол!



А собаку истребить надо. Немедля! Она, наверное, бешеная… Чья это собака, спрашиваю?

— Это, кажись, генерала Жигалова! — говорит кто-то из толпы.

— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто… Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождем… Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? — обращается Очумелов к Хрюкину. — Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой

здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь… известный народ! Знаю вас, чертей!

— Он, ваше благородие, цигаркой ей в харю для смеха, а она — не будь дура — и тяпни… Вздорный человек, ваше благородие!

— Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед Богом… А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано… Нынче все равны… У меня у самого брат в жандарах… ежели хотите знать…



— Не рассуждать!

— Нет, это не генеральская… — глубокомысленно замечает городовой. — У генерала таких нет. У него всё больше легавые…

— Ты это верно знаешь?

— Верно, ваше благородие…

— Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта — черт знает что! Ни шерсти, ни вида… подлость одна только… И этакую собаку держать?! Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально

— не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй… Нужно проучить! Пора…

— А может быть, и генеральская… — думает вслух городовой. — На морде у ней не написано… Намедни во дворе у него такую видел.

— Вестимо, генеральская! — говорит голос из толпы.

— Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто… Что-то ветром подуло… Знобит… Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал… И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу… Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака — нежная тварь… А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..

— Повар генеральский идет, его спросим… Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку… Ваша?

— Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!

— И спрашивать тут долго нечего, — говорит Очумелов. — Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать… Ежели сказал, что бродячая, стало быть, и бродячая… Истребить, вот и все.

— Это не наша, — продолжает Прохор. — Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш

не охотник до борзых. Брат ихний охоч…

— Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? — спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. — Ишь ты, Господи! А я и не знал! Погостить приехали?

— В гости…

— Ишь ты, Господи… Соскучились по братце… А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад… Возьми ее… Собачонка ничего себе… Шустрая такая… Цап этого за палец! Ха-ха-ха… Ну, чего дрожишь? Ррр… Рр… Сердится, шельма… цуцик этакий…

Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада… Толпа хохочет над Хрюкиным.

— Я еще доберусь до тебя! — грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.

Унтер Пришибеев

— Унтер-офицер Пришибеев! Вы обвиняетесь в том, что третьего сего сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волостного старшину Аляпова, сотского Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян, причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным?

Пришибеев, сморщенный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя:

— Ваше высокородие, господин мировой судья! Стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновен не я, а все прочие. Все это дело вышло из-за, царствие ему небесное, мертвого трупа. Иду это я третьего числа с женой Анфисой тихо, благородно, смотрю: стоит на берегу куча разного народа людей. По какому полному праву тут народ собрался? — спрашиваю. Зачем? Нешто в законе сказано, чтоб народ табуном ходил? Кричу: разойдись! Стал расталкивать народ, чтоб

расходились по домам, приказал сотскому гнать взашей...

— Позвольте, вы ведь не урядник, не староста, — разве это ваше дело — народ разгонять?



— Не его! Не его! — слышатся голоса из разных углов камеры. — Житья от него нету, вашескородие! Пятнадцать лет от него терпим! Как пришел со службы, так с той поры хоть из села беги. Замучил всех!

— Именно так, вашескородие! — говорит свидетель-староста. — Всем миром жалимся. Жить с ним никак невозможно! С образами ли ходим, свадьба ли, или, положим, случай какой, везде он кричит, шумит, всё порядки вводит. Ребятам уши дерет, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, словно свекор какой… Намеднись по избам ходил, приказывал, чтоб песней не пели и чтоб огней не жгли. Закона, говорит, такого нет, чтоб песни петь.

— Погодите, вы еще успеете дать показание, — говорит мировой, — а теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, Пришибеев!

— Слушаю-с! — хрипит унтер. — Вы, ваше высокородие, изволите говорить, не мое это дело — народ разгонять… Хорошо-с… А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во

всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие, знаю, как обходиться с людями простого звания, и, ваше высокородие, я могу все понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной каптенармус[5], в Варшаве служил, в штабе-с, а после того, изволите знать, как вчистую вышел, был в пожарных-с, а после того по слабости болезни ушел из пожарных и два года в мужской классической прогимназии в швейцарах служил… Все порядки знаю-с. А мужик — простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому — для его же пользы. Взять хоть это дело, к примеру… Разгоняю я народ, а на берегу, на песочке, утоплый труп мертвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Нешто это порядок? Что урядник глядит? Отчего ты, говорю, урядник, начальству знать не даешь? Может, этот утоплый покойник сам утоп, а может, тут дело Сибирью пахнет. Может, тут уголовное смертоубийство… А урядник Жигин никакого внимания, только папироску курит. «Что это, говорит, у вас за указчик такой? Откуда, говорит, он у вас такой взялся? Нешто мы без него, говорит, не знаем нашего поведения?»

---

[5] Примечания: 5

Каптена́рмус — должностное лицо в армии, ведавшее хранением и выдачей снаряжения и продовольствия.

Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак этакой, коли тут стоишь и без внимания. «Я, говорит, еще вчера дал знать становому приставу». Зачем же, спрашиваю, становому приставу? По какой статье свода законов? Нешто в таких делах, когда утопшие или удавившие и прочее тому подобное, — нешто в таких делах становой может? Тут, говорю, дело уголовное, гражданское… Тут, говорю, скорей посылать эстафет господину следователю и судьям-с. И перво-наперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мировому судье. А он, урядник, все слушает и смеется. И мужики тоже. Все смеялись, ваше высокородие. Под присягой могу показать. И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся. Что, говорю, зубья скалите? А урядник и говорит: «Мировому, говорит, судье такие дела неподсудны». От этих самых слов меня даже в жар бросило. Урядник, ведь ты это сказывал? — обращается унтер к уряднику Жигину.

— Сказывал.

— Все слыхали, как ты это самое при всем простом народе: «Мировому судье такие дела неподсудны». Все слыхали, как ты это самое… Меня, ваше высокородие, в жар бросило, я даже сробел весь. Повтори, говорю, повтори, такой-ся-

кой, что ты сказал! Он опять эти самые слова… Я к нему. Как же, говорю, ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Ты, полицейский урядник, да против власти? А? Да ты, говорю, знаешь, что господин мировой судья, ежели пожелают, могут тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадежного поведения? Да ты знаешь, говорю, куда за такие политические слова тебя угнать может господин мировой судья? А старшина говорит: «Мировой, говорит, дальше своих пределов ничего обозначить не может. Только малые дела ему подсудны». Так и сказал, все слышали… Как же, говорю, ты смеешь власть уничижать? Ну, говорю, со мной не шути шуток, а то дело, брат, плохо. Бывало, в Варшаве или когда в швейцарах был в мужской классической прогимназии, то как заслышу какие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма. «Поди, говорю, сюда, кавалер», — и все ему докладываю. А тут, в деревне, кому скажешь?.. Взяло меня зло. Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении, я размахнулся и… конечно, не то чтобы сильно, а так, правильно, полегоньку, чтоб не смел про ваше высокородие такие слова говорить… За

старшину урядник вступился. Я, стало быть, и урядника… И пошло… Погорячился, ваше высокородие, ну да ведь без того нельзя, чтоб не побить. Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех. Особливо ежели за дело… ежели беспорядок…

— Позвольте! За непорядками есть кому глядеть. На это есть урядник, староста, сотский…

— Уряднику за всем не углядеть, да урядник и не понимает того, что я понимаю…

— Но поймите, что это не ваше дело!

— Чего-с? Как же это не мое? Чудно-с… Люди безобразят — и не мое дело! Что ж мне, хвалить их, что ли? Они вот жалятся вам, что я песни петь запрещаю… Да что хорошего в песнях-то? Вместо того чтоб делом каким заниматься, они песни… А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть. Нужно спать ложиться, а у них разговоры да смехи. У меня записано-с!

— Что у вас записано?

— Кто с огнем сидит.

Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает:

— Которые крестьяне сидят с огнем: Иван Прохоров, Савва Микифоров, Петр Петров. Солдатка Шустрова, вдова, живет в развратном беззаконии

с Семеном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его Мавра есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров.

— Довольно! — говорит судья и начинает допрашивать свидетелей.

Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, который, очевидно, не на его стороне. Его выпученные глаза блестят, нос становится ярко-красным. Глядит он на мирового, на свидетелей и никак не может понять, отчего это мировой так взволнован и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятен ему и приговор: на месяц под арест!

— За что?! — говорит он, разводя в недоумении руками. — По какому закону?

И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но, выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом:

— Нар-род, расходись! Не толпись! По домам!

Восклицательный знак
(Святочный рассказ)

В ночь под Рождество Ефим Фомич Перекладин, коллежский секретарь, лег спать обиженный и даже оскорбленный.

— Отвяжись ты, нечистая сила! — рявкнул он со злобой на жену, когда та спросила, отчего он такой хмурый.

Дело в том, что он только что вернулся из гостей, где сказано было много неприятных и обидных для него вещей. Сначала заговорили о пользе образования вообще, потом же незаметно перешли к образовательному цензу служащей братии, причем было высказано много сожалений, упреков и даже насмешек по поводу низкого уровня. И тут, как это водится во всех российских компаниях, с общих материй перешли к личностям.

— Взять, например, хоть вас, Ефим Фомич, — обратился к Перекладину один юноша. — Вы занимаете приличное место… а какое образование вы получили?

— Никакого-с. Да у нас образование и не тре-

буется, — кротко ответил Перекладин. — Пиши правильно, вот и все…

— Где же это вы правильно писать-то научились?

— Привык-с… За сорок лет службы можно руку набить-с… Оно конечно, спервоначалу трудно было, делывал ошибки, но потом привык-с… и ничего…

— А знаки препинания?

— И знаки препинания ничего… Правильно ставлю.

— Гм!.. — сконфузился юноша. — Но привычка совсем не то, что образование. Мало того, что вы знаки препинания правильно ставите… мало-с! Нужно сознательно ставить! Вы ставите запятую и должны сознавать, для чего ее ставите… да-с! А это ваше бессознательное… рефлекторное правописание и гроша не стоит. Это машинное производство, и больше ничего.

Перекладин смолчал и даже кротко улыбнулся (юноша был сын статского советника и сам имел право на чин X класса), но теперь, ложась спать, он весь обратился в негодование и злобу.

«Сорок лет служил, — думал он, — и никто меня дураком не назвал, а тут, поди ты, какие критики нашлись! „Бессознательно!.. Лефректорно! Ма-

шинное производство…“ Ах ты, черт тебя возьми! Да я еще, может быть, больше тебя понимаю, даром что в твоих университетах не был!»

Излив мысленно по адресу критика все известные ему ругательства и согревшись под одеялом, Перекладин стал успокаиваться.

«Я знаю… понимаю… — думал он, засыпая. — Не поставлю там двоеточия, где запятую нужно, стало быть, сознаю, понимаю. Да… Так-то, молодой человек… Сначала пожить нужно, послужить, а потом уж стариков судить…»

В закрытых глазах засыпавшего Перекладина сквозь толпу темных улыбавшихся облаков метеором пролетела огненная запятая. За ней другая, третья, и скоро весь безграничный темный фон, расстилавшийся перед его воображением, покрылся густыми толпами летавших запятых…

«Хоть эти запятые взять… — думал Перекладин, чувствуя, как его члены сладко немеют от наступавшего сна. — Я их отлично понимаю… Для каждой могу место найти, ежели хочешь… и… и сознательно, а не зря… Экзаменуй — и увидишь… Запятые ставятся в разных местах, где надо, где и не надо. Чем путанее бумага выходит, тем больше запятых нужно. Ставятся они перед „который“ и перед „что“. Ежели в бумаге перечислять чинов-

ников, то каждого из них надо запятой отделять… Знаю!»

Золотые запятые завертелись и унеслись в сторону. На их место прилетели огненные точки…

«А точка в конце бумаги ставится… Где нужно большую передышку сделать и на слушателя взглянуть, там тоже точка. После всех длинных мест нужно точку, чтоб секретарь, когда будет читать, слюной не истек. Больше же нигде точка не ставится…»

Опять налетают запятые… Они мешаются с точками, кружатся — и Перекладин видит целое сонмище точек с запятой и двоеточий…

«И этих знаю… — думает он. — Где запятой мало, а точки много, там надо точку с запятой. Перед „но“ и „следственно“ всегда ставлю точку с запятой… Ну-с, а двоеточие? Двоеточие ставится после слов „постановили“, „решили“…»

Точки с запятой и двоеточия потухли. Наступила очередь вопросительных знаков. Эти выскочили из облаков и заканканировали[6]…

«Эка невидаль: знак вопросительный! Да хоть тысяча их, всем место найду. Ставятся они всегда, когда запрос нужно делать или, положим, о

---

[6] Примечания: 6

Канка́н — французский танец с характерным вскидыванием ног.

бумаге справиться… „Куда отнесен остаток сумм за такой-то год?“ или „Не найдет ли Полицейское управление возможным оную Иванову и проч.?“…»

Вопросительные знаки одобрительно закивали своими крючками и моментально, словно по команде, вытянулись в знаки восклицательные…

«Гм!.. Этот знак препинания в письмах часто ставится. „Милостивый государь мой!“ или „Ваше превосходительство, отец и благодетель!..“ А в бумагах когда?»

Восклицательные знаки еще больше вытянулись и остановились в ожидании…

«В бумагах они ставятся, когда… тово… этого… как его? Гм!.. В самом деле, когда же их в бумагах ставят? Постой… дай Бог память… Гм!..»

Перекладин открыл глаза и повернулся на другой бок. Но не успел он вновь закрыть глаза, как на темном фоне опять появились восклицательные знаки.

«Черт их возьми… Когда же их ставить нужно? — подумал он, стараясь выгнать из своего воображения непрошеных гостей. — Неужели забыл? Или забыл, или же… никогда их не ставил…»

Перекладин стал припоминать содержание

всех бумаг, которые он написал за сорок лет своего служения; но как он ни думал, как ни морщил лоб, в своем прошлом он не нашел ни одного восклицательного знака.

«Что за оказия! Сорок лет писал и ни разу восклицательного знака не поставил… Гм!.. Но когда же он, черт длинный, ставится?»

Из-за ряда огненных восклицательных знаков показалась ехидно смеющаяся рожа юноши-критика. Сами знаки улыбнулись и слились в один большой восклицательный знак.

Перекладин встряхнул головой и открыл глаза.

«Черт знает что… — подумал он. — Завтра к утрене вставать надо, а у меня это чертобесие из головы не выходит… Тьфу! Но… когда же он ставится? Вот тебе и привычка! Вот тебе и набил руку! За сорок лет ни одного восклицательного! А?»

Перекладин перекрестился и закрыл глаза, но тотчас же открыл их; на темном фоне все еще стоял большой знак…

«Тьфу! Этак всю ночь не уснешь».

— Марфуша! — обратился он к своей жене, которая часто хвасталась тем, что кончила курс в пансионе. — Ты не знаешь ли, душенька, когда в бумагах ставится восклицательный знак?

— Еще бы не знать! Недаром в пансионе семь лет училась. Наизусть всю грамматику помню. Этот знак ставится при обращениях, восклицаниях и при выражениях восторга, негодования, радости, гнева и прочих чувств.

«Тэк-с… — подумал Перекладин. — Восторг, негодование, радость, гнев и прочие чувства…»

Коллежский секретарь задумался… Сорок лет писал он бумаги, написал он их тысячи, десятки тысяч, но не помнит ни одной строки, которая выражала бы восторг, негодование или что-нибудь в этом роде…

«И прочие чувства… — думал он. — Да нешто в бумагах нужны чувства? Их и бесчувственный писать может…»

Рожа юноши-критика опять выглянула из-за огненного знака и ехидно улыбнулась. Перекладин поднялся и сел на кровати. Голова его болела, на лбу выступил холодный пот… В углу ласково теплилась лампадка, мебель глядела празднично, чистенько, от всего так и веяло теплом и присутствием женской руки, но бедному чинуше было холодно, неуютно, точно он заболел тифом. Знак восклицательный стоял уже не в закрытых глазах, а перед ним, в комнате, около женина туалета и насмешливо мигал ему…

— Пишущая машина! Машина! — шептало привидение, дуя на чиновника сухим холодом. — Деревяшка бесчувственная!

Чиновник укрылся одеялом, но и под одеялом он увидел привидение, прильнул лицом к жениному плечу — и из-за плеча торчало то же самое… Всю ночь промучился бедный Перекладин, но и днем не оставило его привидение. Он видел его всюду: в надеваемых сапогах, в блюдечке с чаем, в Станиславе…

«И прочие чувства… — думал он. — Это правда, что никаких чувств не было… Пойду сейчас к начальству расписываться… а разве это с чувствами делается? Так, зря… Поздравительная машина…»

Когда Перекладин вышел на улицу и крикнул извозчика, то ему показалось, что вместо извозчика подкатил восклицательный знак.

Придя в переднюю начальника, он вместо швейцара увидел тот же знак… И все это говорило ему о восторге, негодовании, гневе… Ручка с пером тоже глядела восклицательным знаком. Перекладин взял ее, обмакнул перо в чернила и расписался: «Коллежский секретарь Ефим Перекладин!!!» И, ставя эти три знака, он восторгался, негодовал, радовался, кипел гневом.

— На тебе! На тебе! — бормотал он, надавливая

на перо.

Огненный знак удовлетворился и исчез.

Лошадиная фамилия

У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние — жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька — предлагали каждый свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором.

— Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, — сказал он, — лет десять назад служил акцизный Яков Васильич. Заговаривал зубы — первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет — и как рукой! Сила ему такая дадена…

— Где же он теперь?

— А после того как его из акцизных увольнили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами

и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает… Тамошних, саратовских, на дому у себя пользует, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так… у раба Божьего Алексия зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете.

— Ерунда! Шарлатанство!

— А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой, ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин!

— Пошли, Алеша! — взмолилась генеральша. — Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого.

— Ну ладно, — согласился Булдеев. — Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь… Ох! Мочи нет! Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать?

Генерал сел за стол и взял перо в руки.

— Его в Саратове каждая собака знает, — сказал приказчик. — Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть… Его благородию господину Якову Васильичу… Васи-

льичу…

— Ну?

— Васильичу… Якову Васильичу… а по фамилии… А фамилию вот и забыл!.. Васильичу… Черт… Как же его фамилия? Давеча, как сюда шел, помнил… Позвольте-с…

Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.

— Ну, что же? Скорей думай!

— Сейчас… Васильичу… Якову Васильичу… Забыл! Такая еще простая фамилия… словно как бы лошадиная… Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте… Жеребцов нешто? Нет, и не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная, а какая — из головы вышибло…

— Жеребятников?

— Никак нет. Постойте… Кобылицын… Кобылятников____Кобелев…

— Это уж собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?

— Нет, и не Жеребчиков… Лошадинин… Лошаков… Жеребкин… Всё не то!

— Ну, так как же я буду ему писать? Ты подумай!

— Сейчас. Лошадкин… Кобылкин… Коренной…

— Коренников? — спросила генеральша.

— Никак нет. Пристяжкин… Нет, не то! Забыл!

— Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл? — рассердился генерал. — Ступай отсюда вон!

Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.

— Ой, батюшки! — вопил он. — Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!

Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного:

— Жеребчиков… Жеребковский… Жеребенко… Нет, не то! Лошадинский… Лошадевич… Жеребкович… Кобылянский…

Немного погодя его позвали к господам.

— Вспомнил? — спросил генерал.

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Может быть, Конявский? Лошадников? Нет?

И в доме, все наперерыв, стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую… В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию…

Приказчика то и дело требовали в дом.

— Табунов? — спрашивали у него. — Копытин? Жеребовский?

— Никак нет, — отвечал Иван Евсеич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух: — Конен-ко… Конченко… Жеребеев… Кобылеев…

— Папа! — кричали из детской. — Тройкин! Уздечкин!



Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию, и за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами…

— Гнедов! — говорили ему. — Рысистый! Лошадицкий!

Но наступил вечер, а фамилия всё еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы.

Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал… В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.

— Не Меринов ли? — спросил он плачущим голосом.

— Нет, не Меринов, ваше превосходительство, — ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.

— Да может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая!

— Истинно слово, ваше превосходительство, лошадиная… Это очень даже отлично помню.

— Экий ты какой, братец, беспамятный… Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!

Утром генерал опять послал за доктором.

— Пускай рвет! — решил он. — Нет больше сил терпеть…

Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует, за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича… Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны…

— Буланов… Чересседельников… — бормотал он. — Засупонин… Лошадский…

— Иван Евсеич! — обратился к нему доктор. — Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой…

Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака.

— Надумал, ваше превосходительство! — закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. — Надумал, дай Бог здоровья доктору! Овсов! Овсов фамилия акцизного! Овсов,

ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!

— На-кося! — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. — Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! На-кося!

Хирургия

Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчовой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки — сигара, распространяющая зловоние.

В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером.

— А-а-а… мое вам! — зевает фельдшер. — С чем пожаловали?

— С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич… К вашей милости… Истинно и правдиво в Псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворях».

Сел намедни со старухой чай пить и — ни Боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай… Хлебнешь чуточку — и силы моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону… Так и ломит, так и ломит! В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет, так и стреляет, так и стреляет! Согрешихом и беззаконновахом… Студными бо окалях душу грехми и в лености житие мое иждих… За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец иерей[7] после литургии упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поёшь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, все распухши, извините, и ночь не спавши…

— М-да… Садитесь… Раскройте рот!

Вонмигласов садится и раскрывает рот.

Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.

— Отец диакон велели водку с хреном прикладывать — не помогло. Гликерия Анисимовна, дай Бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы да велели теплым молоком зуб

---

[7] Примечания: 7
Иере́й — священник.

полоскать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл: Бога боюсь, пост…

— Предрассудок… (Пауза.) Вырвать его нужно, Ефим Михеич!

— Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб это дело понимать, как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем… На то вы, благодетели, и поставлены, дай Бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и нощно, отцы родные… по гроб жизни…

— Пустяки… — скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах. — Хирургия — пустяки… Тут во всем привычка, твердость руки… Раз плюнуть… Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иваныч Египетский… Тоже с зубом… Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что. Руку пожимает, по имени и отчеству… В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал… Долго мы с ним тут… Христом Богом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя… Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом… Кому как.

Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит

на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы.

— Ну-с, раскройте рот пошире… — говорит он, подходя с щипцами к дьячку. — Сейчас мы его… тово… Раз плюнуть… Десну подрезать только… тракцию сделать по вертикальной оси… и всё (подрезывает десну)… и всё…

— Благодетели вы наши… Нам, дуракам, и невдомек, а вас Господь просветил…

— Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт… Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки… Этот — раз плюнуть… (Накладывает щипцы.) Постойте, не дергайтесь… Сидите неподвижно… В мгновение ока… (Делает тракцию.) Главное, чтоб поглубже взять (тянет)… чтоб коронка не сломалась…

— Отцы наши… Мать Пресвятая… Ввв…

— Не того… не того… как его? Не хватайте руками! Пустите руки! (Тянет.) Сейчас… Вот, вот… Дело-то ведь нелегкое…

— Отцы… радетели… (Кричит.) Ангелы! Ого-го… Да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь?

— Дело-то ведь… хирургия… Сразу нельзя… Вот, вот…

Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто

дышит… На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет… Проходят мучительнейшие пол минуты — и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.

— Тянул! — говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. — Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света Божьего не вижу…

— А ты зачем руками хватаешь? — сердится фельдшер. — Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова… Дура!

— Сам ты дура!

— Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (Дразнит.) «Не умеешь, не умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты… Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ничего, никаких слов… Человек почище тебя, а не хватал руками… Садись! Садись, тебе говорю!

— Света не вижу… Дай дух перевести… Ох! (Садится.) Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай… Сразу!

— Учи ученого! Экий, Господи, народ необразованный! Живи вот с этакими… очумеешь! Раскрой рот… (Накладывает щипцы.) Хирургия, брат, не шутка… Это не на клиросе читать… (Делает тракцию.) Не дергайся… Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил… (Тянет.) Не шевелись… Так… так… Не шевелись… Ну, ну… (Слышен хрустящий звук.) Так и знал!

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен… Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.

— Было б мне козьей ножкой… — бормочет фельдшер. — Этакая оказия!

Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа.



— Пар-ршивый черт… — выговаривает он. — Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!

— Поругайся мне еще тут… — бормочет фельдшер, кладя в шкап щипцы. — Невежи… Мало тебя в бурсе березой потчевали… Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил… образованность… один костюм рублей сто стоит… да и то не ругался… А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!

Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси…

Дорогая собака

Поручик Дубов, уже немолодой армейский служака, и вольноопределяющийся Кнапс сидели и выпивали.

— Великолепный пес! — говорил Дубов, показывая Кнапсу свою собаку Милку. — Замеча-тельная собака! Вы обратите внимание на морду! Морда одна чего стоит! Ежели на любителя наскочить, так за одну морду двести рублей дадут! Не верите? В таком случае вы ничего не понимаете…

— Я понимаю, но…

— Ведь сеттер, чистокровный английский сеттер! Стойка поразительная, а чутье… нюх! Боже, какой нюх! Знаете, сколько я дал за Милку, когда она была еще щенком? Сто рублей! Дивная собака! Ше-ельма, Милка! Ду-ура, Милка! Поди сюда, поди сюда… собачечка, песик мой…

Дубов привлек к себе Милку и поцеловал ее между ушей. На глазах у него выступили слезы.

— Никому тебя не отдам… красавица моя… разбойник этакий. Ведь ты любишь меня, Милка? Любишь?.. Ну, пошла вон! — крикнул вдруг поручик. — Грязными лапами прямо на мундир

лезешь! Да, Кнапс, полтораста рублей дал — за щенка! Стало быть, было за что! Одно только жаль: охотиться мне некогда! Гибнет без дела собака, талант свой зарывает… Потому-то и продаю. Купите, Кнапс! Всю жизнь будете благодарны! Ну, если у вас денег мало, то извольте, я уступлю вам половину… Берите за пятьдесят! Грабьте!

— Нет, голубчик… — вздохнул Кнапс. — Будь ваша Милка мужеского пола, то, может быть, я и купил бы, а то…

— Милка не мужеского пола? — изумился поручик. — Кнапс, что с вами? Милка не мужеского… пола?! Ха-ха! Так что же она, по-вашему? Сука? Ха-ха… Хорош мальчик! Он еще не умеет отличить кобеля от суки!

— Вы мне говорите, словно я слеп или ребенок… — обиделся Кнапс. — Конечно, сука!

— Пожалуй, вы еще скажете, что я — дама! Ах, Кнапс, Кнапс! А еще тоже в техническом кончили! Нет, душа моя, это настоящий чистокровный кобель! Мало того, любому кобелю десять очков вперед даст, а вы… не мужеского пола! Ха-ха…

— Простите, Михаил Иванович, но вы… просто за дурака меня считаете… Обидно даже…

— Ну, не нужно, черт с вами… Не покупайте… Вам не втолкуешь! Вы скоро скажете, что у нее

это не хвост, а нога… Не нужно. Вам же хотел одолжение сделать. Вахрамеев, коньяку!

Денщик подал еще коньяку. Приятели налили себе по стакану и задумались. Прошло полчаса в молчании.

— А хоть бы и женского пола… — прервал молчание поручик, угрюмо глядя на бутылку. — Удивительное дело! Для вас же лучше. Принесет вам щенят, а что ни щенок, то и четвертная… Всякий у вас охотно купит. Не знаю, почему это вам так нравятся кобели! Суки в тысячу раз лучше. Женский пол и признательнее и привязчивее… Ну, уж если вы так боитесь женского пола, то извольте, берите за двадцать пять.

— Нет, голубчик… Ни копейки не дам. Во-первых, собака мне не нужна, а во-вторых, денег нет.

— Так бы и сказали раньше. Милка, пошла отсюда!

Денщик подал яичницу. Приятели принялись за нее и молча очистили сковороду.

— Хороший вы малый, Кнапс, честный… — сказал поручик, вытирая губы. — Жалко мне вас так отпускать, черт подери… Знаете что? Берите собаку даром!

— Куда же я ее, голубчик, возьму? — сказал

Кнапс и вздохнул. — И кто у меня с ней возиться будет?

— Ну, не нужно, не нужно… черт с вами! Не хотите, и не нужно… Куда же вы? Сидите!

Кнапс, потягиваясь, встал и взялся за шапку.

— Пора, прощайте… — сказал он, зевая.

— Так постойте же, я вас провожу.

Дубов и Кнапс оделись и вышли на улицу. Первые сто шагов прошли молча.

— Вы не знаете, кому бы это отдать собаку? — начал поручик. — Нет ли у вас таких знакомых? Собака, вы видели, хорошая, породистая, но… мне решительно не нужна!

— Не знаю, милый___Какие же у меня тут знакомые?

До самой квартиры Кнапса приятели не сказали больше ни одного слова. Только когда Кнапс пожал поручику руку и отворил свою калитку, Дубов кашлянул и как-то нерешительно выговорил:

— Вы не знаете, здешние живодеры собак принимают или нет?

— Должно быть, принимают… Наверное не могу сказать.

— Пошлю завтра с Вахрамеевым… Черт с ней, пусть с нее кожу сдерут… Мерзкая собака! Отвра-

тительная! Мало того что нечистоту в комнатах завела, но еще в кухне вчера все мясо сожрала, п-п-подлая… Добро бы порода хорошая, а то черт знает что, помесь дворняжки со свиньей. Спокойной ночи!

— Прощайте! — сказал Кнапс.

Калитка хлопнула, и поручик остался один.

Размазня

На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей, Юлию Васильевну. Нужно было посчитаться.

— Садитесь, Юлия Васильевна! — сказал я ей. — Давайте посчитаемся. Вам наверное нужны деньги, а вы такая церемонная, что сами не спросите… Ну-с… Договорились мы с вами по тридцати рублей в месяц…

— По сорока…

— Нет, по тридцати… У меня записано… Я всегда платил гувернанткам по тридцати. Ну-с, прожили вы два месяца…

— Два месяца и пять дней…

— Ровно два месяца… У меня так записано. Следует вам, значит, шестьдесят рублей… Вычесть девять воскресений… вы ведь не занимались с Колей по воскресеньям, а гуляли только… да три праздника…

Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку, но… ни слова!..

— Три праздника… Долой, следовательно, двенадцать рублей… Четыре дня Коля был болен и не было занятий… Вы занимались с одной

только Варей… Три дня у вас болели зубы, и моя жена позволила вам не заниматься после обеда… Двенадцать и семь — девятнадцать. Вычесть… останется… гм… сорок один рубль… Верно?

Левый глаз Юлии Васильевны покраснел и наполнился влагой. Подбородок ее задрожал. Она нервно закашляла, засморкалась, но — ни слова!..



— Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Долой два рубля… Чашка стоит дороже, она фамильная, но… Бог с вами! Где наше не пропадало? Потом-с, по вашему недосмотру Коля полез на дерево и порвал себе сюртучок… Долой десять… Горничная, тоже по вашему недосмотру, украла у Вари ботинки. Вы должны за всем смотреть. Вы жалованье получаете. Итак, значит, долой еще пять… Десятого января вы взяли у меня десять рублей…

— Я не брала, — шепнула Юлия Васильевна.

— Но у меня записано!

— Ну, пусть… хорошо.

— Из сорока одного вычесть двадцать семь — останется четырнадцать…

Оба глаза наполнились слезами… На длинном хорошеньком носике выступил пот. Бедная девочка!

— Я раз только брала, — сказала она дрожащим голосом. — Я у вашей супруги взяла три рубля… Больше не брала…

— Да? Ишь ведь, а у меня и не записано! Долой из четырнадцати три, останется одиннадцать… Вот вам ваши деньги, милейшая! Три… три, три… один и один… Получите-с!

И я подал ей одиннадцать рублей… Она взяла и

дрожащими пальчиками сунула их в карман.

— Mercі, — прошептала она.

Я вскочил и заходил по комнате. Меня охватила злость.

— За что же mercі? — спросил я.

— За деньги…

— Но ведь я же вас обобрал, черт возьми, ограбил! Ведь я украл у вас! За что же mercі?

— В других местах мне и вовсе не давали…

— Не давали? И немудрено! Я пошутил над вами, жестокий урок дал вам… Я отдам вам все ваши восемьдесят! Вон они в конверте для вас приготовлены! Но разве можно быть такой кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазней?

Она кисло улыбнулась, и я прочел на ее лице: «Можно!»

Я попросил у нее прощения за жестокий урок и отдал ей, к великому ее удивлению, все восемьдесят. Она робко замерсикала и вышла… Я поглядел ей вслед и подумал: легко на этом свете быть сильным!

Шуточка

Ясный зимний полдень… Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном.

— Съедемте вниз, Надежда Петровна! — умоляю я. — Один только раз! Уверяю вас: мы останемся целы и невредимы.

Но Наденька боится. Все пространство от ее маленьких калош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У нее замирает дух и прерывается дыхание, когда она глядит вниз, когда я только предлагаю сесть в санки, но что же будет, если она рискнет полететь в пропасть! Она умрет, сойдет с ума.

— Умоляю вас! — говорю я. — Не надо бояться! Поймите же, это малодушие, трусость!

Наденька наконец уступает, и я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю ее, бледную, дрожащую, в санки, обхваты-

ваю рукой и вместе с нею низвергаюсь в бездну.

Санки летят как пуля. Рассекаемый воздух бьет в лицо, ревет, свистит в ушах, рвет, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову. От напора ветра нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную, стремительно бегущую полосу… Вот-вот еще мгновение, и кажется — мы погибнем!

— Я люблю вас, Надя! — говорю я вполголоса.

Санки начинают бежать все тише и тише, рев ветра и жужжанье полозьев не так уже страшны, дыхание перестает замирать, и мы наконец внизу. Наденька ни жива ни мертва. Она бледна, едва дышит… Я помогаю ей подняться.

— Ни за что в другой раз не поеду, — говорит она, глядя на меня широкими, полными ужаса глазами. — Ни за что на свете! Я едва не умерла!

Немного погодя она приходит в себя и уже вопросительно заглядывает мне в глаза: я ли сказал те четыре слова или же они только послышались ей в шуме вихря? А я стою возле нее, курю и внимательно рассматриваю свою перчатку.

Она берет меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка, видимо, не дает ей покою. Были сказаны те слова или нет? Да или нет? Да

или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья, вопрос очень важный, самый важный на свете. Наденька нетерпеливо, грустно, проникающим взором заглядывает мне в лицо, отвечает невпопад, ждет, не заговорю ли я. О, какая игра на этом милом лице, какая игра! Я вижу: она борется с собой, ей нужно что-то сказать, о чем-то спросить, но она не находит слов, ей неловко, страшно, мешает радость…

— Знаете что? — говорит она, не глядя на меня.

— Что? — спрашиваю я.

— Давайте еще раз… прокатим.

Мы взбираемся по лестнице на гору. Опять я сажаю бледную, дрожащую Наденьку в санки, опять мы летим в страшную пропасть, опять ревет ветер и жужжат полозья, и опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю вполголоса:

— Я люблю вас, Наденька!

Когда санки останавливаются, Наденька окидывает взглядом гору, по которой мы только что катили, потом долго всматривается в мое лицо, вслушивается в мой голос, равнодушный и бесстрастный, и вся, вся, даже муфта и башлык ее, вся ее фигурка выражают крайнее недоумение. И на лице у нее написано: «В чем же дело? Кто

произнес *те* слова? Он или мне только послышалось?»

Эта неизвестность беспокоит ее, выводит из терпения. Бедная девочка не отвечает на вопросы, хмурится, готова заплакать.

— Не пойти ли нам домой? — спрашиваю я.

— А мне… мне нравится это катанье, — говорит она, краснея. — Не проехаться ли нам еще раз?

Ей «нравится» это катанье, а между тем, садясь в санки, она, как и в те разы, бледна, еле дышит от страха, дрожит.

Мы спускаемся в третий раз, и я вижу, как она смотрит мне в лицо, следит за моими губами. Но я прикладываю к губам платок, кашляю и, когда достигаем середины горы, успеваю вымолвить:

— Я люблю вас, Надя!

И загадка остается загадкой! Наденька молчит, о чем-то думает… Я провожаю ее с катка домой, она старается идти тише, замедляет шаги и все ждет, не скажу ли я ей тех слов. И я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать:

— Не может же быть, чтоб их говорил ветер! И я не хочу, чтобы это говорил ветер!

На другой день утром я получаю записочку: «Если пойдете сегодня на каток, то заходите за

мной. *Н.».* И с этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток, и, слетая вниз на санках, я всякий раз произношу вполголоса одни и те же слова:

— Я люблю вас, Надя!

Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию. Она жить без нее не может. Правда, лететь с горы по-прежнему страшно, но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви, словам, которые по-прежнему составляют загадку и томят душу. Подозреваются все те же двое: я и ветер… Кто из двух признается ей в любви, она не знает, но ей, по-видимому, уже все равно; из какого сосуда ни пить — все равно, лишь бы быть пьяным.

Как-то в полдень я отправился на каток один; смешавшись с толпой, я вижу, как к горе подходит Наденька, как ищет глазами меня… Затем она робко идет вверх по лесенке… Страшно ехать одной, о как страшно! Она бледна как снег, дрожит, она идет точно на казнь, но идет, идет без оглядки, решительно. Она, очевидно, решила наконец попробовать: будут ли слышны те изумительные сладкие слова, когда меня нет? Я вижу, как она, бледная, с раскрытым от ужаса ртом, садится в санки, закрывает глаза и, простившись навеки

с землей, трогается с места… Жжжж… — жужжат полозья. Слышит ли Наденька те слова, я не знаю… Я вижу только, как она поднимается из саней изнеможенная, слабая. И видно по ее лицу, она и сама не знает, слышала она что-нибудь или нет. Страх, пока она катила вниз, отнял у нее способность слышать, различать звуки, понимать…

Но вот наступает весенний месяц март… Солнце становится ласковее. Наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает наконец. Мы перестаем кататься. Бедной Наденьке больше уж негде слышать тех слов, да и некому произносить их, так как ветра не слышно, а я собираюсь в Петербург — надолго, должно быть навсегда.

Как-то перед отъездом, дня за два, в сумерки сижу я в садике, а от двора, в котором живет Наденька, садик этот отделен высоким забором с гвоздями… Еще достаточно холодно, под навозом еще снег, деревья мертвы, но уже пахнет весной и, укладываясь на ночлег, шумно кричат грачи. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный, тоскующий взор на небо… Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое лицо… Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, когда она слышала те четыре слова,

и лицо у нее становится грустным-грустным, по щеке ползет слеза… И бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер принести ей еще раз те слова. И я, дождавшись ветра, говорю вполголоса:

— Я люблю вас, Надя!

Боже мой, что делается с Наденькой! Она вскрикивает, улыбается во все лицо и протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая, такая красивая.

А я иду укладываться…

Это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем; ее выдали или она сама вышла — это все равно — за секретаря дворянской опеки, и теперь у нее уже трое детей. То, как мы вместе когда-то ходили на каток и как ветер доносил до нее слова «Я вас люблю, Наденька», не забыто; для нее теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни…

А мне теперь, когда я стал старше, уже непонятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил…

Дочь Альбиона

К дому помещика Грябова подкатила прекрасная коляска с каучуковыми шинами, толстым кучером и бархатным сиденьем. Из коляски выскочил уездный предводитель дворянства Федор Анд-реич Отцов. В передней встретил его сонный лакей.

— Господа дома? — спросил предводитель.

— Никак нет-с. Барыня с детями в гости поехали, а барин с мамзелью-гувернанткой рыбу ловят-с. С самого утра-с.

Отцов постоял, подумал и пошел к реке искать Грябова. Нашел он его версты за две от дома, подойдя к реке. Поглядев вниз с крутого берега и увидев Грябова, Отцов прыснул… Грябов, большой, толстый человек с очень большой головой, сидел на песочке, поджав под себя по-турецки ноги, и удил. Шляпа у него была на затылке, галстук сполз набок. Возле него стояла высокая, тонкая англичанка с выпуклыми рачьими глазами и большим птичьим носом, похожим скорей на крючок, чем на нос. Одета она была в белое кисейное платье, сквозь которое сильно просвечивали тощие желтые плечи. На золотом поясе висели

золотые часики. Она тоже удила. Вокруг обоих царила гробовая тишина. Оба были неподвижны, как река, на которой плавали их поплавки.

— Охота смертная, да участь горькая! — засмеялся Отцов. — Здравствуй, Иван Кузьмич!

— А… это ты? — спросил Грябов, не отрывая глаз от воды. — Приехал?

— Как видишь… А ты все еще своей ерундой занимаешься! Не отвык еще?

— Кой черт… Весь день ловлю, с утра… Плохо что-то сегодня ловится. Ничего не поймал ни я, ни эта кикимора. Сидим, сидим, и хоть бы один черт! Просто хоть караул кричи.

— А ты наплюй. Пойдем водку пить!

— Постой… Может быть, что-нибудь да поймаем. Под вечер рыба клюет лучше… Сижу, брат, здесь с самого утра! Такая скучища, что и выразить тебе не могу. Дернул же меня черт привыкнуть к этой ловле! Знаю, что чепуха, а сижу! Сижу, как подлец какой-нибудь, как каторжный, и на воду гляжу, как дурак какой-нибудь! На покос надо ехать, а я рыбу ловлю. Вчера в Хапоньеве преосвященный служил, а я не поехал, здесь просидел вот с этой стерлядью… с чертовкой с этой…

— Но… ты с ума сошел? — спросил Отцов, конфузливо косясь на англичанку. — Бранишься при

даме… и ее же…



— Да черт с ней! Все одно ни бельмеса по-русски не смыслит. Ты ее хоть хвали, хоть брани — ей все равно! Ты на нос посмотри! От одного носа в обморок упадешь! Сидим по целым дням вместе, и хоть бы одно слово! Стоит, как чучело, и бельмы на воду таращит.

Англичанка зевнула, переменила червячка и закинула удочку.

— Удивляюсь, брат, я немало! — продолжал Грябов. — Живет дурища в России десять лет, и хоть бы одно слово по-русски!.. Наш какой-нибудь арис-тократишка поедет к ним и живо по-ихнему брехать научится, а они… черт их знает! Ты посмотри на нос! На нос ты посмотри!

— Ну перестань… Неловко… Что напал на женщину?

— Она не женщина, а девица… О женихах небось мечтает, чертова кукла. И пахнет от нее какою-то гнилью… Возненавидел, брат, ее! Видеть равнодушно не могу! Как взглянет на меня своими глазищами, так меня и покоробит всего, словно я локтем о перила ударился. Тоже любит рыбу ловить. Погляди: ловит и священнодействует! С презрением на все смотрит… Стоит, каналья, и сознает, что она человек и что, стало быть, она царь природы. А знаешь, как ее зовут? Уилька

Чарльзовна Тфайс! Тьфу!., и не выговоришь!

Англичанка, услышав свое имя, медленно повела нос в сторону Грябова и измерила его презрительным взглядом. С Грябова подняла она глаза на Отцова и его облила презрением. И все это молча, важно и медленно.

— Видал? — спросил Грябов, хохоча. — Нате, мол, вам! Ах ты, кикимора! Для детей только и держу этого тритона. Не будь детей, я бы ее и за десять верст к своему имению не подпустил… Нос точно у ястреба… А талия? Эта кукла напоминает мне длинный гвоздь. Так, знаешь, взял бы и в землю вбил. Постой… У меня, кажется, клюет…

Грябов вскочил и поднял удилище. Леска натянулась… Грябов дернул еще раз и не вытащил крючка.

— Зацепилась! — сказал он и поморщился. — За камень, должно быть… Черт возьми…

На лице у Грябова выразилось страдание. Вздыхая, беспокойно двигаясь и бормоча проклятья, он начал дергать за лесу. Дерганье ни к чему не привело. Грябов побледнел.

— Экая жалость! В воду лезть надо.

— Да ты брось!

— Нельзя… Под вечер хорошо ловится… Ведь этакая комиссия, прости Господи! Придется лезть

в воду. Придется! А если бы ты знал, как мне не хочется раздеваться! Англичанку-то турнуть надо… При ней неловко раздеваться. Все-таки ведь дама!

Грябов сбросил шляпу и галстук.

— Мисс… э-э-э… — обратился он к англичанке. — Мисс Тфайс! Же ву при[8]… Ну, как ей сказать? Ну, как тебе сказать, чтобы ты поняла? Послушайте… туда! Туда уходите! Слышишь?

Мисс Тфайс облила Грябова презрением и издала носовой звук.

— Что-с? Не понимаете? Ступай, тебе говорят, отсюда! Мне раздеваться нужно, чертова кукла! Туда ступай! Туда!

Грябов дернул мисс за рукав, указал ей на кусты и присел: ступай, мол, за кусты и спрячься там… Англичанка, энергически двигая бровями, быстро проговорила длинную английскую фразу. Помещики прыснули.

— Первый раз в жизни ее голос слышу… Нечего сказать, голосок! Не понимает! Ну, что мне делать с ней?

— Плюнь! Пойдем водки выпьем!

— Нельзя, теперь ловиться должно… Вечер…

---

[8] Примечания: 8
Я прошу вас (*фр.* Je vous prie).

Ну что ты прикажешь делать! Вот комиссия! Придется при ней раздеваться…

Грябов сбросил сюртук и жилет и сел на песок снимать сапоги.

— Послушай, Иван Кузьмич, — сказал предводитель, хохоча в кулак. — Это уж, друг мой, глумление, издевательство.

— Ее никто не просит не понимать! Это наука им, иностранцам!

Грябов снял сапоги, панталоны, сбросил с себя белье и очутился в костюме Адама. Отцов ухватился за живот. Он покраснел и от смеха и от конфуза. Англичанка задвигала бровями и замигала глазами… По желтому лицу ее пробежала надменная, презрительная улыбка.



— Надо остынуть, — сказал Грябов, хлопая себя по бедрам. — Скажи на милость, Федор Анд-реич, отчего это у меня каждое лето сыпь на груди бывает?

— Да полезай скорей в воду или прикройся чем-нибудь! Скотина!

— И хоть бы сконфузилась, подлая! — сказал Грябов, полезая в воду и крестясь. — Бр-р… холодная вода… Посмотри, как бровями двигает! Не уходит… Выше толпы стоит! Хе-хе-хе… И за людей нас не считает!

Войдя по колена в воду и вытянувшись во весь свой громадный рост, он мигнул глазом и сказал:

— Это, брат, ей не Англия!

Мисс Тфайс хладнокровно переменила червячка, зевнула и закинула удочку. Отцов отвернулся. Грябов отцепил крючок, окунулся и с сопеньем вылез из воды. Через две минуты он сидел уже на песочке и опять удил рыбу.

Свадьба с генералом
(Рассказ)

Отставной контр-адмирал Ревунов-Караулов, маленький, старенький и заржавленный, шел однажды с рынка и нес за жабры живую щуку. За ним двигалась его кухарка Ульяна, держа под мышкой кулек с морковью и пачку листового табаку, который почтенный адмирал употреблял «от клопов, тли (она же моль), тараканов и прочих инфузорий, живущих на теле человека и в его жилище».

— Дядюшка! Филипп Ермилыч! — услыхал он вдруг, поворачивая в свой переулок. — А я только что у вас был, целый час стучался! Как хорошо, что мы не разминулись!

Контр-адмирал поднял глаза и увидел перед собою своего племянника Андрюшу Нюнина, молодого человека, служащего в страховом обществе «Дрянь».

— У меня к вам есть просьба, — продолжал племянник, пожимая дядюшкину руку и приобретая от этого сильный рыбий запах. — Сядемте на скамеечку, дядюшка… Вот так… Ну-с, дело вот в чем…

Сегодня венчается мой хороший друг и приятель, некто Любимский… человек, между нами говоря, прелестнейший… Да вы, дядюшка, положите щуку! Что она будет вам шинель пачкать?

— Это ничего… Гадость рыба, грош цена, а между тем икра — удивление! Распороть ей брюхо, выпустить оттеда икру, смешать ее, знаешь, с толчеными сухариками, лучком, перцем и — приидите, насладимся!

— Человек прекраснейший… Служит оценщиком в ссудной кассе, но вы не подумайте, что это какой-нибудь замухрышка или валет… В ссудных кассах нынче и благородные дамы служат… Семейство, могу вас уверить… отец, мать и прочие… люди превосходные, радушные такие, религиозные… Одним словом, семья русская, патриархальная, от которой вы будете в восторге… Женится Любимский на сиротке, по любви… Славные люди!.. Так вот не можете ли вы, дорогой дядечка, оказать честь этой семье и пожаловать сегодня к ним на свадебный ужин?

— Но ведь я того… незнаком! Как я поеду?

— Это ничего не значит! Не к баронам и не к графам ведь ехать! Люди простые, без всяких эти-кетов… Русская натура: милости просим, все знакомые и незнакомые! И к тому же… я вам

откровенно… семья патриархальная, с разными предрассудками, причудами… Смешно даже… Ужасно ей хочется, чтобы на свадьбе присутствовал генерал! Тысячи рублей им не надо, а только посадите за их стол генерала! Согласен, грошовое тщеславие, предрассудок, но… но отчего же не доставить им этого невинного удовольствия? Тем более что и вам не будет там скучно… Нарочно для вас припасли бутылочку цимлянского и омаров жестяночку…

Да и блеснете, откровенно говоря. Теперь ваш чин пропадает даром, как бы зарыт в землю, и никто не чувствует, что вы такого звания, а там, по крайней мере, всем понятно будет! Да ей-богу!

— Но прилично ли это будет для меня, Андрюша? — спросил контр-адмирал, задумчиво глядя на извозчика. — Я, знаешь, подумаю…

— Странно, о чем тут можно думать? Езжайте, вот и все! А что насчет приличия, то даже обидно… Точно я могу родного дядю повести в неприличное место!

— Пожалуй… Как знаешь…

— Так я за вами вечерком заеду… Этак часиков в одиннадцать, попоздней, чтобы как раз на ужин попасть… по-аристократически…

В 11 часов Нюнин заехал за дядюшкой. Реву-

нов-Караулов надел свой мундир и штаны с золотыми лампасами, нацепил ордена — и они поехали. Свадебный ужин уже начался, когда взятый из трактира напрокат лакей снимал с адмирала пальто с капюшоном, и мать жениха, г-жа Любимская, встречая его в передней, щурила на него глаза.

— Генерал? — вздыхала она, вопросительно глядя на Андрюшу, снимавшего пальто, и кланяясь. — Очень приятно, ваше превосходительство… Но какие неосанистые… завалященькие… Гм… Никакой строгости в виде и даже еполетов нету… Гм… Ну, все равно, не ворочаться же, какого Бог дал… Так и быть, пожалуйте, ваше превосходительство! Слава Богу, хоть орденов много…

Контр-адмирал поднял вверх свежевыбритый подбородок, внушительно кашлянул и вошел в зал… Тут его взорам представилась картина, способная размягчить и обратить в пепел даже камень. Посреди залы стоял большой стол, уставленный закусками и бутылками… За столом, на самом видном месте, сидел жених Любимский во фраке и белых перчатках. По его вспотевшему лицу плавала улыбка. Очевидно, его услаждали не столько предлежащие яства, сколько предвкушение предстоящих брачных наслаждений.

Около него сидела невеста с заплаканными глазами и с выражением крайней невинности на лице. Контр-адмирал сразу понял, что она добродетельна. Все остальные места были заняты гостями обоего пола.

— Контр-адмирал Ревунов-Караулов! — крикнул Андрюша.

Гости поглядели исподлобья на вошедших, почтительно вытерли губы и приподнялись.

— Позвольте представить, ваше превосходительство! Новобрачный Эпаминонд Саввич Любимский с супругою… Иван Иваныч Ять, служащий на телеграфе… Иностранец греческого звания по кондитерской части Харлампий Спиридоныч Дымба… Федор Яковлевич Наполеонов и… прочие… Садитесь, вашество!

Контр-адмирал покачнулся, сел и тотчас же придвинул к себе селедку.

— Как вы его отрапортовали? — обратилась шепотом хозяйка к Андрюше, подозрительно и озабоченно поглядывая на сановного гостя. — Я просила генерала, а не этого… как его… котр… конр…

— Контр-адмирала… Но вы не понимаете, Настасья Тимофеевна. Поскольку действительный статский советник в гражданских чинах по Та-

бели о рангах соответствует генерал-майору, постольку контр-адмирал соответствует действительному статскому советнику… Разница только в ведомствах, суть же — один черт… Одна цена.

— Да, да… — подтвердил Наполеонов. — Это верно…

Хозяйка успокоилась и поставила перед контр-адмиралом бутылку цимлянского.

— Кушайте, вашество! Извините только, пожалуйста… У себя там вы привыкли к деликатности, а у нас так просто!

— Да-с… — начал контр-адмирал после продолжительного молчания. — В старину люди всегда жили просто и были довольны… Я человек, который в чинах, и то живу просто…

— Вы давно в отставке, вашество?

— С 1865 года… В старину все просто было… Но…

Адмирал сказал «но», перевел дух и в это время увидел молодого гардемарина, сидевшего против него.

— Вы того… во флоте, стало быть? — спросил он.

— Точно так, вашество!..

— Ага… Так… Чай, теперь все пошло по-новому, не так, как при нас было… Белотелые все пошли,

пушистые… Впрочем, флотская служба всегда была трудная… Это не то что пехота какая-нибудь или, положим, кавалерия… В пехоте ничего умственного нет. Там даже и мужику понятно, как и что… А вот у нас с вами, молодой человек, нет-с! Шутишь! У нас с вами есть над чем задуматься… Всякое незначительное слово имеет, так сказать, свое таинственное… э-э-э… недоумение… Например: марсовые к вантам, на фок и грот! Что это значит? Это значит, что которые приставлены для закрепления брамселей, должны непременно находиться в это время на марсах, иначе надо командовать: саленговые к вантам! Тут уж другой смысл… Хе-хе… Тонкость что твоя математика! А вот ежели, идучи полным ветром… дай Бог память… На брамсели и бом-брамсели! Тут марсовые, которые назначены для отдачи марселей и бом-брамселей, что есть духу бегут с марсов на салинги и бом-салинги, потом… дай Бог память… расходятся по реям и раскрепляют означенные паруса, а в это время — понимаете? — в это самое время! — люди, которые внизу, становятся на брам и бом-брам-шкоты, фалы и брасы…

— За здоровье достоуважаемых гостей! — провозгласил жених.

— Да-с, — перебил контр-адмирал, поднима-

ясь и чокаясь. — Мало ли разных команд… Да вот хоть бы эту взять… дай Бог память… брам и бом-брам-шкоты тянуть, фалы поднима-а-а-й!! Хорошо-с… Но что это значит и какой здесь смысл? Очень просто! Тянут, знаете ли, брам и бом-брам-шкоты и поднимают фалы… все вдруг! Причем уравнивают бом-брам-шкоты и бом-брам-фалы при подъеме, а в это время, глядя по надобности, потравливают брасы сих парусов, а когда уж, стало быть, шкоты натянуты и фалы все до места подняты, то брам и бом-брам-брасы вытягиваются и реи брасонятся соответственно направлению ветра…



— Дядюшка! — шепнул Андрюша. — Хозяйка просит вас поговорить о чем-нибудь другом. Это непонятно гостям и… скучно.

— Постой… Я рад, что молодого человека встретил… Молодой человек! Я всегда желал и… желаю… От души желаю! Дай Бог… Мне приятно… Да-с… А вот ежели корабль лежит бейдевинд правым галсом под всеми парусами, исключая грота, то как надлежит командовать? Очень просто… дай Бог память… Всех наве-е-ерх, через фордевинд

поворачивать! Ведь так? Хе-хе…

— Будет, дядюшка! — шепнул Андрюша.



Но дядюшка не унимался. Он выкрикивал команду за командой и каждый свой хриплый выкрик пояснял длинным комментарием. Приближался уж конец ужина, а между тем по его милости не было сказано еще ни одного длинного тоста, ни одной речи. Иван Иваныч Ять, у которого давно уже висела на языке цветистая речь, начал беспокойно вертеться на стуле, морщиться

и шептаться с соседями. Раз, когда за десертом адмирал поперхнулся цимлянским и закашлялся, он воспользовался паузой, вскочил и начал:

— В сегодняшний, так сказать, день… Гм… в который мы, собравшись для чествования нашего любимого…

— Да-с… — перебил его адмирал. — И ведь все это надо помнить! Например… дай Бог память… бей-футы и топенанты раздернуть, бакштаги с правой за марс!

— Мы люди темные, ваше превосходительство, — сказала хозяйка, — ничего этого самого не понимаем, а вы расскажите нам лучше что-нибудь касающее…

— Вы не понимаете, потому что… термины! Конечно! А молодой человек понимает… Да. Старину с ним вспомнил… А ведь приятно, молодой человек! Плывешь себе по морю, горя не знаючи, и…

Адмирал прослезился и заговорил дрожащим голосом:

— Например… дай Бог память… Кливер поднимай, пошел браса, фока и грота-галсы садить!

Адмирал вытер глаза, всхлипнул и продолжал:

— Тут сейчас поднимают кливер-фалы, брасопят грот-марсель и прочие, что над оным, паруса

в бейдевинд, а потом садят до места фока и грота-галсы, тянут шкоты и выбирают булиня… Пла… плачу… Рад…

— Генерал, а безобразите! — вспыхнула хозяйка. — Постыдились бы на старости лет! Мы вам не за то деньги платили, чтоб вы безобразили!

— Какие деньги? — вытаращил глаза контр-адмирал.

— Известно какие… Небось уж получили через Андрея Ильича четвертную! А вам, Андрей Ильич, грех! Мы вас не просили такого нанимать…

Старик взглянул на вспыхнувшего Андрюшу, на хозяйку — и все понял. «Предрассудок» патриархальной семьи, о котором говорил ему Андрюша, предстал перед ним во всей его пакости… В один миг слетел с него хмель… Он встал из-за стола, засеменил в переднюю и, одевшись, вышел…

Больше уж он никогда не ходил на свадьбы.

Налим

Летнее утро. В воздухе тишина; только поскрипывает на берегу кузнечик да где-то робко мурлыкает орличка. На небе неподвижно стоят перистые облака, похожие на рассыпанный снег… Около строящейся купальни, под зелеными ветвями ивняка, барахтается в воде плотник Герасим, высокий тощий мужик с рыжей курчавой головой и с лицом, поросшим волосами. Он пыхтит, отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то из-под корней ивняка. Лицо его покрыто потом. На сажень от Герасима, по горло в воде, стоит плотник Любим, молодой горбатый мужик с треугольным лицом и с узкими китайскими глазками. Как Герасим, так и Любим, оба в рубахах и портах. Оба посинели от холода, потому что уж больше часа сидят в воде…

— Да что ты все рукой тычешь? — кричит горбатый Любим, дрожа как в лихорадке. — Голова ты садовая! Ты держи его, держи, а то уйдет, анафема! Держи, говорю!

— Не уйдет… Куда ему уйтить? Он под корягу забился… — говорит Герасим охрипшим, глухим басом, идущим не из гортани, а из глубины живо-

та. — Скользкий, шут, и ухватить не за что.

— Ты за зебры хватай, за зебры!

— Не видать жабров-то… Постой, ухватил за что-то… За губу ухватил… Кусается, шут!

— Не тащи за губу, не тащи — выпустишь! За зебры хватай его, за зебры хватай! Опять почал рукой тыкать! Да и беспонятный же мужик, прости, Царица Небесная! Хватай!

— «Хватай»!.. — дразнит Герасим. — Командер какой нашелся… Шел бы да и хватал бы сам, горбатый черт… Чего стоишь?

— Ухватил бы я, коли б можно было… Нешто при моей низкой комплекции можно под берегом стоять? Там глыбоко!

— Ничего, что глыбоко… Ты вплавь…

Горбач взмахивает руками, подплывает к Герасиму и хватается за ветки. При первой же попытке стать на ноги он погружается с головой и пускает пузыри.

— Говорил же, что глыбоко! — говорит он, сердито вращая белками. — На шею тебе сяду, что ли?

— А ты на корягу стань… Коряг много, словно лестница…

Горбач нащупывает пяткой корягу и, крепко ухватившись сразу за несколько веток, стано-

вится на нее… Совладавши с равновесием и укрепившись на новой позиции, он изгибается и, стараясь не набрать в рот воды, начинает правой рукой шарить между корягами. Путаясь в водорослях, скользя по мху, покрывающему коряги, рука его наскакивает на колючие клешни рака…

— Тебя еще тут, черта, не видали! — говорит Любим и со злобой выбрасывает на берег рака.

Наконец рука его нащупывает руку Герасима и, спускаясь по ней, доходит до чего-то склизкого, холодного.

— Во-от он!.. — улыбается Любим. — Зда-аровый, шут… Оттопырь-ка пальцы, я его сичас… за зебры… Постой, не толкай локтем… я его сичас… сичас, дай только взяться… Далече, шут, под корягу забился, не за что и ухватиться… Не доберешься до головы… Пузо одно только и слыхать… Убей мне на шее комара — жжет! Я сичас… под зебры его… Заходи сбоку, пхай его, пхай! Шпыняй его пальцем!

Горбач, надув щеки, притаив дыхание, вытаращивает глаза и, по-видимому, уже залезает пальцами «под зебры», но тут ветки, за которые цепляется его левая рука, обрываются, и он, потеряв равновесие, — бултых в воду! Словно испуганные, бегут от берега волнистые круги,

и на месте падения вскакивают пузыри. Горбач выплывает и, фыркая, хватается за ветки.

— Утонешь еще, черт, отвечать за тебя придется!.. — хрипит Герасим. — Вылазь, ну тя к лешему! Я сам вытащу!

Начинается ругань… А солнце печет и печет. Тени становятся короче и уходят в самих себя, как рога улитки… Высокая трава, пригретая солнцем, начинает испускать из себя густой, приторно-медовый запах. Уж скоро полдень, а Герасим и Любим все еще барахтаются под ивняком. Хриплый бас и озябший, визгливый тенор неугомонно нарушают тишину летнего дня.

— Тащи его за зебры, тащи! Постой, я его выпихну! Да куда суешься-то с кулачищем? Ты пальцем, а не кулаком — рыло! Заходи сбоку! Слева заходи, слева, а то вправе колдобина! Угодишь к лешему на ужин! Тяни за губу!

Слышится хлопанье бича… По отлогому берегу к водопою лениво плетется стадо, гонимое пастухом Ефимом. Пастух, дряхлый старик с одним глазом и покривившимся ртом, идет понуря голову и глядит себе под ноги. Первыми подходят к воде овцы, за ними лошади, за лошадьми коровы.

— Потолкай его из-под низу! — слышит он голос

Любима. — Просунь палец! Да ты глухой, че-ерт, что ли? Тьфу!

— Кого это вы, братцы? — кричит Ефим.

— Налима! Никак не вытащим! Под корягу забился! Заходи сбоку! Заходи, заходи!

Ефим минуту щурит свой глаз на рыболовов, затем снимает лапти, сбрасывает с плеч мешочек и снимает рубаху. Сбросить порты не хватает у него терпения, и он, перекрестясь, балансируя худыми темными руками, лезет в портах в воду… Шагов пятьдесят он проходит по илистому дну, но затем пускается вплавь.

— Постой, ребятушки! — кричит он. — Постой! Не вытаскивайте его зря, упустите. Надо умеючи!..

Ефим присоединяется к плотникам, и все трое, толкая друг друга локтями и коленями, пыхтя и ругаясь, толкутся на одном месте… Горбатый Любим захлебывается, и воздух оглашается резким, судорожным кашлем.

— Где пастух? — слышится с берега крик. — Ефи-им! Пастух! Где ты? Стадо в сад полезло! Гони, гони из саду! Гони! Да где ж он, старый разбойник?

Слышатся мужские голоса, затем женский… Из-за решетки барского сада показывается барин

Андрей Андреич в халате из персидской шали и с газетой в руке… Он смотрит вопросительно по направлению криков, несущихся с реки, и потом быстро семенит к купальне…

— Что здесь? Кто орет? — спрашивает он строго, увидав сквозь ветви ивняка три мокрые головы рыболовов. — Что вы здесь копошитесь?

— Ры… рыбку ловим… — лепечет Ефим, не поднимая головы.

— А вот я тебе задам рыбку! Стадо в сад полезло, а он рыбку!.. Когда же купальня будет готова, черти? Два дня как работаете, а где ваша работа?

— Бу… будет готова… — кряхтит Герасим. — Лето велико, успеешь еще, вашескородие, помыться… Пфррр… Никак вот тут с налимом не управимся… Забрался под корягу и словно в норе: ни туда ни сюда…

— Налим? — спрашивает барин, и глаза его подергиваются лаком. — Так тащите его скорей!

— Ужо дашь полтинничек… Удружим ежели… Здоровенный налим, что твоя купчиха… Стоит, вашескородие, полтинник… за труды… Не мни его, Любим, не мни, а то замучишь! Подпирай снизу! Тащи-ка корягу кверху, добрый человек… как тебя? Кверху, а не книзу, дьявол! Не болтайте ногами!

Проходит пять минут, десять… Барину становится невтерпеж.

— Василий! — кричит он, повернувшись к усадьбе. — Васька! Позовите ко мне Василия!

Прибегает кучер Василий. Он что-то жует и тяжело дышит.

— Полезай в воду, — приказывает ему барин, — помоги им вытащить налима… Налима не вытащат!

Василий быстро раздевается и лезет в воду.

— Я сичас… — бормочет он. — Где налим? Я сичас… Мы это мигом! А ты бы ушел, Ефим! Нечего тебе тут, старому человеку, не в свое дело мешаться! Который тут налим? Я его сичас… Вот он! Пустите руки!

— Да чего пустите руки? Сами знаем: пустите руки! А ты вытащи!

— Да нешто его так вытащишь? Надо за голову!

— А голова под корягой! Знамо дело, дурак!

— Ну, не лай, а то влетит! Сволочь!

— При господине барине — и такие слова… — лепечет Ефим. — Не вытащите вы, братцы! Уж больно ловко он засел туда!

— Погодите, я сейчас… — говорит барин и начинает торопливо раздеваться. — Четыре вас

дурака, и налима вытащить не можете!

Раздевшись, Андрей Андреич дает себе остынуть и лезет в воду. Но и его вмешательство не ведет ни к чему.

— Подрубить корягу надо! — решает наконец Любим. — Герасим, сходи за топором! Топор подайте!

— Пальцев-то себе не отрубите! — говорит барин, когда слышатся подводные удары топора о корягу. — Ефим, пошел вон отсюда! Постойте, я налима вытащу… Вы не того…

Коряга подрублена. Ее слегка надламывают, и Андрей Андреич, к великому своему удовольствию, чувствует, как его пальцы лезут налиму под жабры.

— Тащу, братцы! Не толпитесь… стойте… тащу!

На поверхности показывается большая налимья голова и за нею черное аршинное тело. Налим тяжело ворочает хвостом и старается вырваться.

— Шалишь… Дудки, брат. Попался? Ага!

По всем лицам разливается медовая улыбка. Минута проходит в молчаливом созерцании.

— Знатный налим! — лепечет Ефим, почесывая под ключицами. — Чай, фунтов десять будет…

— Н-да… — соглашается барин. — Печенка-то

так и отдувается. Так и прет ее из нутра. А… ах!

Налим вдруг неожиданно делает резкое движение хвостом вверх, и рыболовы слышат сильный плеск… Все растопыривают руки, но уже поздно: налим — поминай как звали.

Злоумышленник

Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка в пестрядинной рубахе и латаных портах. Его обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видные из-за густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже не чесанных, путаных волос, что придает ему еще большую, паучью суровость. Он бос.

— Денис Григорьев! — начинает следователь. — Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии, на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было?

— Чаво?

— Так ли все это было, как объясняет Акинфов?

— Знамо, было.

— Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку?

— Чаво?

— Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос: для чего ты отвинчивал гайку?

— Коли б не нужна была, не отвинчивал бы, — хрипит Денис, косясь на потолок.

— Для чего же тебе понадобилась эта гайка?

— Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем…

— Кто это — мы?

— Мы, народ… Климовские мужики то есть.

— Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать!

— Отродясь не врал, а тут вру… — бормочет Денис, мигая глазами. — Да нешто, ваше благородие, можно без грузила? Ежели ты живца или выползка на крючок сажаешь, то нешто он пойдет ко дну без грузила? Вру!.. — усмехается Денис. — Черт ли в нем, в живце-то, ежели поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер схватит, да и то редко… В нашей реке не живет шилишпер… Эта рыба простор любит.

— Для чего ты мне про шилишпера рассказываешь?

— Чаво? Да ведь вы сами спрашиваете! У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка

не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который непонимающий, ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан…

— Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило?

— А то что же? Не в бабки ж играть!

— Но для грузила ты мог взять свинец, пулю… гвоздик какой-нибудь…

— Свинец на дороге не найдешь: купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки и не найтить… И тяжелая, и дыра есть.

— Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Недогляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!

— Избави Господи, ваше благородие! Зачем убивать? Нешто мы некрещеные или злодеи какие? Слава те Господи, господин хороший, век свой прожили и не токмо что убивать, но и мыслей таких в голове не было… Спаси и помилуй, Царица Небесная… Что вы-с!

— А отчего, по-твоему, происходят крушения поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение!

Денис усмехается и недоверчиво щурит на сле-

дователя глаза.

— Ну! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем, и хранил Господь, а тут крушение… людей убил… Ежели б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну тогды, пожалуй, своротило бы поезд, а то… тьфу! гайка!

— Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам!

— Это мы понимаем… Мы ведь не все отвинчиваем… оставляем… Не без ума делаем… понимаем…

Денис зевает и крестит рот.

— В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов, — говорит следователь. — Теперь понятно, почему…

— Чего изволите?

— Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд с рельсов… Я понимаю!

— На то вы и образованные, чтобы понимать, милостивцы наши… Господь знал, кому понятие давал… Вы вот и рассудили, как и что, а сторож тот же мужик, без всякого понятия, хватает за шиворот и тащит… Ты рассуди, а потом и тащи! Сказано — мужик, мужицкий и ум… Запишите также, ваше благородие, что он меня два раза по

зубам ударил и в груди.

— Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку… Эту в каком месте ты отвинтил и когда?

— Это вы про ту гайку, что под красным сундучком лежала?

— Не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил?

— Я ее не отвинчивал, ее мне Игнашка, Семена кривого сын, дал. Это я про ту, что под сундучком, а ту, что на дворе в санях, мы вместе с Митрофаном вывинтили.

— С каким Митрофаном?

— С Митрофаном Петровым… Нешто не слыхали? Невода у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. На каждый невод, почитай, штук десять…

— Послушай… 1081-я статья уложения о наказаниях говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт и виновный знал, что последствием сего должно быть несчастье… понимаешь? Знал! А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание… он приговаривается к ссылке в каторжные работы.



— Конечно, вы лучше знаете… Мы люди темные… нешто мы понимаем?

— Все ты понимаешь! Это ты врешь, прикидываешься!

— Зачем врать? Спросите на деревне, коли не верите… Без грузила только уклейку ловят, а на что хуже пескаря, да и тот не пойдет тебе без грузила.

— Ты еще про шилишпера расскажи! — улыбается следователь.

— Шилишпер у нас не водится… Пущаем леску без грузила поверх воды на бабочку, идет голавль, да и то редко.

— Ну, молчи…

Наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, глядит на стол с зеленым сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет.

— Мне идтить? — спрашивает Денис после некоторого молчания.

— Нет. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму.

Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно глядит на чиновника.

— То есть как же в тюрьму? Ваше благородие! Мне некогда, мне надо на ярмарку; с Егора три рубля за сало получить…

— Молчи, не мешай.

— В тюрьму… Было б за что, пошел бы, а то так… здорово живешь… За что? И не крал, кажись, и не дрался… А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старосте… Вы господина непременного члена спросите… Креста на нем нет, на старосте-то…

— Молчи!

— Я и так молчу… — бормочет Денис. — А что староста набрехал в учете, это я хоть под присягой… Нас три брата: Кузьма Григорьев, стало быть, Егор Григорьев и я, Денис Григорьев…

— Ты мне мешаешь… Эй, Семен! — кричит следователь. — Увести его!

— Нас три брата, — бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры. — Брат за брата не ответчик… Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай… Судьи! Помер покойник барин-генерал, царство небесное, а то показал бы он вам, судьям… Надо судить умеючи, не зря… Хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести…

Ванька

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкапа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! — писал он. — И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».

Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно

юркий и подвижный старикашка лет 65-ти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал.

Теперь, наверно, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.

— Табачку нешто нам понюхать? — говорит он, подставляя бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит:

— Отдирай, примерзло!

Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом…

Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать:

«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды

нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности… Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить, увези меня отсюда, а то помру…»

Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть, — продолжал он, — Богу молиться, а если что, то секи меня, как Сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молить, все равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома всё господские, и лошадей много, а овец нету, и собаки не злые.

Со звездой тут ребята не ходят, и на клирос петь никого не пущают, а раз я видал в одной лавке на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоющие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто кажное… А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.

Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Веселое было время! И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой… Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помирать? Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц… Дед не может, чтоб не крикнуть:

— Держи, держи… держи! Ах, куцый дьявол!

Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее… Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину…

«Приезжай, милый дедушка, — продолжал Ванька, — Христом Богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой… А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка приезжай».

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку… Подумав немного, он умакнул перо и

написал адрес:

На деревню дедушке.

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу…

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель…

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал… Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам… Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом…

Мальчики

— Володя приехал! — крикнул кто-то на дворе.

— Володичка приехали! — завопила Наталья, вбегая в столовую. — Ах, Боже мой!

Вся семья Королевых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными, озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать: «Бррр!» Мать и тетка бросились обнимать и целовать его, Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки, сестры подняли визг, двери скрипели, хлопали, а отец Володи в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно:

— А мы тебя еще вчера ждали! Хорошо доехал? Благополучно? Господи Боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться! Что я, не отец, что ли?

«Гав! Гав!» — ревел басом Милорд, огромный

черный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели.

Все смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошел, Королевы заметили, что кроме Володи в передней находился еще один маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем; он неподвижно стоял в углу в тени, бросаемой большою лисьей шубой.

— Володичка, а это же кто? — спросила шепотом мать.

— Ах! — спохватился Володя. — Это, честь имею представить, мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса… Я привез его с собой погостить у нас.

— Очень приятно, милости просим! — сказал радостно отец. — Извините, я по-домашнему, без сюртука… Пожалуйте! Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться! Господи Боже мой, да прогоните эту собаку! Это наказание!

Немного погодя Володя и его друг Чечевицын, ошеломленные шумной встречей и все еще розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои

чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз.

— Ну, вот скоро и Рождество! — говорил нараспев отец, крутя из темно-рыжего табаку папиросу. — А давно ли было лето и мать плакала, тебя провожаючи? Ан ты и приехал… Время, брат, идет быстро! Ахнуть не успеешь, как старость придет. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь! У нас попросту.

Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша, — самой старшей из них было одиннадцать лет, — сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пух л и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые, вообще был он очень некрасив, и если б на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это, должно быть, очень умный и ученый человек. Он о чем-то все время думал и так был занят своими мыслями, что когда его спрашива-

ли о чем-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос.

Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сестрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал:

— А в Калифорнии вместо чаю пьют джин.

Он тоже был занят какими-то мыслями, и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие.

После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса, точно этот цветок падал с неба; папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала:

— Кто взял мои ножницы? Опять ты, Иван Николаич, взял мои ножницы?

— Господи Боже мой, даже ножниц не дают! — отвечал плачущим голосом Иван Николаич и, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорбленного человека, но через минуту опять восхищался.

В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для елки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору, но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чем-то шептаться; потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту.

— Сначала в Пермь… — тихо говорил Чечевицын, — оттуда в Тюмень… потом Томск… потом… потом… в Камчатку… Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив… Вот тебе и Америка… Тут много пушных зверей.

— А Калифорния? — спросил Володя.

— Калифорния ниже… Лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом.

Чечевицын весь день сторонился девочек и

глядел на них исподлобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил:

— Вы читали Майн Рида?

— Нет, не читала… Послушайте, вы умеете на коньках кататься?

Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал:

— Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут.

Чечевицын грустно улыбнулся и добавил:

— А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты.

— А что это такое?

— Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?

— Господин Чечевицын.

— Нет. Я Монтигомо Ястребиный Коготь, вождь непобедимых.

Маша, самая маленькая девочка, поглядела на

него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье:

— А у нас чечевицу вчера готовили.

Совершенно непонятные слова Чечевицына, и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а все думал о чем-то, — все это было загадочно и странно. И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор. О, что они узнали! Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото; у них для дороги было уже все готово: пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и четыре рубля денег. Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и в конце концов жениться на красавицах и обрабатывать плантации. Володя и Чечевицын говорили и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом так: «Монтигомо Ястребиный Коготь», а Володю — «бледнолицый брат мой».



— Ты смотри же, не говори маме, — сказала Катя Соне, отправляясь с ней спать. — Володя привезет нам из Америки золота и слоновой кости, а если ты скажешь маме, то его не пустят.

Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал, а Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед иконой, перекрестился и сказал:

— Господи, прости меня, грешного! Господи,

сохрани мою бедную, несчастную маму!

К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестер. Катя и Соня понимали, в чем тут дело, а младшая, Маша, ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом:

— Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу.

Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери.

— Так ты не поедешь? — сердито спрашивал Чечевицын. — Говори: не поедешь?

— Господи! — тихо плакал Володя. — Как же я поеду? Мне маму жалко.

— Бледнолицый брат мой, я прошу тебя: поедем! Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил, а как ехать, так вот и струсил.

— Я… я не струсил, а мне… мне маму жалко.

— Ты говори: поедешь или нет?

— Я поеду, только… только погоди. Мне хочется дома пожить.

— В таком случае я сам поеду! — решил Чечевицын. — И без тебя обойдусь. А еще тоже хотел

охотиться на тигров, сражаться! Когда так, отдай же мои пистоны!

Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.

— Так ты не поедешь? — еще раз спросил Чечевицын.

— По… поеду.

— Так одевайся!

И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал, как тигр, изображал пароход, бранился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры.

И этот худенький смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек, и рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев.

Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами полными слез сказала:

— Ах, мне так страшно!

До двух часов, когда сели обедать, все было тихо, но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику — там их не было. Послали

в деревню — и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков, а когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха!

На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала.

Но вот у крыльца остановились розвальни, и от тройки белых лошадей валил пар.

— Володя приехал! — крикнул кто-то на дворе.

— Володичка приехали! — завопила Наталья, вбегая в столовую.

И Милорд залаял басом: «Гав! гав!» Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в Гостином дворе (там они ходили и все спрашивали, где продается порох). Володя как вошел в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею. Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет, слышали, как папаша повел Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними; и мамаша тоже говорила и плакала.

— Разве это так можно? — убеждал папаша. — Не дай Бог, узнают в гимназии, вас исключат. А вам стыдно, господин Чечевицын! Нехорошо-с! Вы зачинщик, и, надеюсь, вы будете наказаны

вашими родителями. Разве это так можно! Вы где ночевали?

— На вокзале! — гордо ответил Чечевицын.

Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму, и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына.

Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова; только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти: «Монтигомо Ястребиный Коготь».

Беглец

Это была длинная процедура. Сначала Пашка шел с матерью под дождем то по скошенному полю, то по лесным тропинкам, где к его сапогам липли желтые листья, шел до тех пор, пока не рассвело. Потом он часа два стоял в темных сенях и ждал, когда отопрут дверь. В сенях было не так холодно и сыро, как на дворе, но при ветре и сюда залетали дождевые брызги. Когда сени мало-помалу битком набились народом, стиснутый Пашка припал лицом к чьему-то тулупу, от которого сильно пахло соленой рыбой, и вздремнул. Но вот щелкнула задвижка, дверь распахнулась, и Пашка с матерью вошел в приемную. Тут опять пришлось долго ждать. Все больные сидели на скамьях, не шевелились и молчали. Пашка оглядывал их и тоже молчал, хотя видел много странного и смешного. Раз только, когда в приемную, подпрыгивая на одной ноге, вошел какой-то парень, Пашке самому захотелось также попрыгать; он толкнул мать под локоть, прыснул в рукав и сказал:

— Мама, гляди: воробей!

— Молчи, детка, молчи! — сказала мать.

В маленьком окошечке показался заспанный фельдшер.

— Подходи записываться! — пробасил он.

Все, в том числе и смешной подпрыгивающий парень, потянулись к окошечку. У каждого фельдшер спрашивал имя и отчество, лета, местожительство, давно ли болен и проч. Из ответов своей матери Пашка узнал, что зовут его не Пашкой, а Павлом Галактионовым, что ему семь лет, что он неграмотен и болен с самой Пасхи.

Вскоре после записывания нужно было ненадолго встать; через приемную прошел доктор в белом фартуке и подпоясанный полотенцем. Проходя мимо подпрыгивающего парня, он пожал плечами и сказал певучим тенором:

— Ну и дурак! Что ж, разве не дурак? Я велел тебе прийти в понедельник, а ты приходишь в пятницу. По мне, хоть вовсе не ходи, но ведь, дурак этакой, нога пропадет!

Парень сделал такое жалостное лицо, как будто собрался просить милостыню, заморгал и сказал:

— Сделайте такую милость, Иван Миколаич!

— Тут нечего — «Иван Миколаич»! — передразнил доктор. — Сказано — в понедельник, и надо слушаться. Дурак, вот и всё…

Началась приемка. Доктор сидел у себя в ком-

натке и выкликал больных по очереди. То и дело из комнатки слышались пронзительные вопли, детский плач или сердитые возгласы доктора:

— Ну, что орешь? Режу я тебя, что ли? Сиди смирно!

Настала очередь Пашки.

— Павел Галактионов! — крикнул доктор.

Мать обомлела, точно не ждала этого вызова, и, взяв Пашку за руку, повела его в комнатку. Доктор сидел у стола и машинально стучал по толстой книге молоточком.

— Что болит? — спросил он, не глядя на вошедших.

— У парнишки болячка на локте, батюшка, — ответила мать, и лицо ее приняло такое выражение, как будто она в самом деле ужасно опечалена Пашкиной болячкой.

— Раздень его!

Пашка, пыхтя, распутал на шее платок, потом вытер рукавом нос и стал не спеша стаскивать тулупчик.

— Баба, не в гости пришла! — сказал сердито доктор. — Что возишься? Ведь ты у меня не одна тут.



Пашка торопливо сбросил тулупчик на землю и с помощью матери снял рубаху... Доктор лениво поглядел на него и похлопал его по голому животу.

— Важное, брат Пашка, ты себе пузо отрастил, — сказал он и вздохнул. — Ну, показывай свой локоть.

Пашка покосился на таз с кровяными помоями, поглядел на докторский фартук и заплакал.

— Ме-е! — передразнил доктор. — Женить пора баловника, а он ревет! Бессовестный.

Стараясь не плакать, Пашка поглядел на мать, и в этом его взгляде была написана просьба: «Ты же не рассказывай дома, что я в больнице плакал!»

Доктор осмотрел его локоть, подавил, вздохнул, чмокнул губами, потом опять подавил.

— Бить тебя, баба, да некому, — сказал он. — Отчего ты раньше его не приводила? Рука-то ведь пропащая! Гляди-кась, дура, ведь это сустав болит!

— Вам лучше знать, батюшка… — вздохнула баба.

— «Батюшка»!.. Сгноила парню руку, да теперь и батюшка. Какой он работник без руки? Вот век целый и будешь с ним нянчиться. Небось как у самой прыщ на носу вскочит, так сейчас же в больницу бежишь, а мальчишку полгода гноила. Все вы такие.

Доктор закурил папироску. Пока папироска дымила, он распекал бабу и покачивал головой

в такт песни, которую напевал мысленно, и все думал о чем-то. Голый Пашка стоял перед ним, слушал и глядел на дым. Когда же папироса потухла, доктор встрепенулся и заговорил тоном ниже:

— Ну, слушай, баба. Мазями да каплями тут не поможешь. Надо его в больнице оставить.

— Ежели нужно, батюшка, то почему не оставить?

— Мы ему операцию сделаем. А ты, Пашка, оставайся, — сказал доктор, хлопая Пашку по плечу. — Пусть мать едет, а мы с тобой, брат, тут останемся. У меня, брат, хорошо, разлюли малина! Мы с тобой, Пашка, вот как управимся, чижей пойдем ловить, я тебе лисицу покажу! В гости вместе поедем! А? Хочешь? А мать за тобой завтра приедет! А?

Пашка вопросительно поглядел на мать.

— Оставайся, детка! — сказала та.

— Остается, остается! — весело закричал доктор. — И толковать нечего! Я ему живую лисицу покажу!

Поедем вместе на ярмарку леденцы покупать! Марья Денисовна, сведите его наверх!

Доктор, по-видимому веселый и покладистый малый, рад был компании; Пашка захотел ува-

жить его, тем более что отродясь не бывал на ярмарке и охотно бы поглядел на живую лисицу, но как обойтись без матери? Подумав немного, он решил попросить доктора оставить в больнице и мать, но не успел он раскрыть рта, как фельдшерица уже вела его вверх по лестнице. Шел он и, разинув рот, глядел по сторонам. Лестница, полы и косяки — все громадное, прямое и яркое — были выкрашены в великолепную желтую краску и издавали вкусный запах постного масла. Всюду висели лампы, тянулись половики, торчали в стенах медные краны. Но больше всего Пашке понравилась кровать, на которую его посадили, и серое шершавое одеяло. Он потрогал руками подушки и одеяло, оглядел палату и решил, что доктору живется очень недурно.

Палата была невелика и состояла только из трех кроватей. Одна кровать стояла пустой, другая была занята Пашкой, а на третьей сидел какой-то старик с кислыми глазами, который все время кашлял и плевал в кружку. С Пашкиной кровати видна была в дверь часть другой палаты с двумя кроватями: на одной спал какой-то очень бледный, тощий человек с каучуковым пузырем на голове; на другой, расставив руки, сидел мужик с повязанной головой, очень похожий на бабу.

Фельдшерица, усадив Пашку, вышла и немного погодя вернулась, держа в охапке кучу одежи.

— Это тебе, — сказала она. — Одевайся.

Пашка разделся и не без удовольствия стал облачаться в новое платье. Надевши рубаху, штаны и серый халатик, он самодовольно оглядел себя и подумал, что в таком костюме недурно бы пройтись по деревне. Его воображение нарисовало, как мать посылает его на огород к реке нарвать для поросенка капустных листьев; он идет, а мальчишки и девчонки окружили его и с завистью глядят на его халатик.

В палату вошла сиделка, держа в руках две оловянные миски, ложки и два куска хлеба. Одну миску она поставила перед стариком, другую — перед Пашкой.

— Ешь! — сказала она.

Взглянув в миску, Пашка увидел жирные щи, а в щах кусок мяса и опять подумал, что доктору живется очень недурно и что доктор вовсе не так сердит, каким показался сначала. Долго он ел щи, облизывая после каждого хлебка ложку, потом, когда, кроме мяса, в миске ничего не осталось, покосился на старика и позавидовал, что тот все еще хлебает. Со вздохом он принялся за мясо, стараясь есть его возможно дольше, но старания

его ни к чему не привели: скоро исчезло и мясо. Остался только кусок хлеба. Невкусно есть один хлеб без приправы, но делать было нечего, Пашка подумал и съел хлеб. В это время вошла сиделка с новыми мисками. На этот раз в мисках было жаркое с картофелем.

— А где же хлеб-то? — спросила сиделка.

Вместо ответа Пашка надул щеки и выдыхнул воздух.

— Ну, зачем сожрал? — сказала укоризненно сиделка. — Ас чем же ты жаркое есть будешь?

Она вышла и принесла новый кусок хлеба. Пашка отродясь не ел жареного мяса и, испробовав его теперь, нашел, что оно очень вкусно. Исчезло оно быстро, и после него остался кусок хлеба больше, чем после щей. Старик, пообедав, спрятал свой оставшийся хлеб в столик; Пашка хотел сделать то же самое, но подумал и съел свой кусок.

Наевшись, он пошел прогуляться. В соседней палате кроме тех, которых он видел в дверь, находилось еще четыре человека. Из них только один обратил на себя его внимание. Это был высокий, крайне исхудалый мужик с угрюмым волосатым лицом; он сидел на кровати и все время, как маятником, кивал головой и махал правой рукой.

Пашка долго не отрывал от него глаз. Сначала маятникообразные, мерные кивания мужика казались ему курьезными, производимыми для всеобщей потехи, но когда он вгляделся в лицо мужика, ему стало жутко, и он понял, что этот мужик нестерпимо болен. Пройдя в третью палату, он увидел двух мужиков с темно-красными лицами, точно вымазанными глиной. Они неподвижно сидели на кроватях и со своими странными лицами, на которых трудно было различить черты, походили на языческих божков.

— Тетка, зачем они такие? — спросил Пашка у сиделки.

— У них, парнишка, воспа.

Вернувшись к себе в палату, Пашка сел на кровать и стал дожидаться доктора, чтобы идти с ним ловить чижей или ехать на ярмарку. Но доктор не шел. В дверях соседней палаты мелькнул ненадолго фельдшер. Он нагнулся к тому больному, у которого на голове лежал мешок со льдом, и крикнул:

— Михайло!

Спавший Михайло не шевельнулся. Фельдшер махнул рукой и ушел. В ожидании доктора Пашка осматривал своего соседа-старика. Старик не переставая кашлял и плевал в кружку; кашель

у него был протяжный, скрипучий. Пашке понравилась одна особенность старика: когда он, кашляя, вдыхал в себя воздух, то в груди его что-то свистело и пело на разные голоса.

— Дед, что это у тебя свистит? — спросил Пашка.

Старик ничего не ответил. Пашка подождал немного и спросил:

— Дед, а где лисица?

— Какая лисица?

— Живая.

— Где ж ей быть? В лесу!

Прошло много времени, но доктор все еще не являлся. Сиделка принесла чай и побранила Пашку за то, что он не оставил себе хлеба к чаю; приходил еще раз фельдшер и принимался будить Михайлу; за окнами посинело, в палатах зажглись огни, а доктор не показывался. Было уже поздно ехать на ярмарку и ловить чижей; Пашка растянулся на постели и стал думать. Вспомнил он леденцы, обещанные доктором, лицо и голос матери, потемки в своей избе, печку, ворчливую бабку Егоровну… и ему стало вдруг скучно и грустно. Вспомнил он, что завтра мать придет за ним, улыбнулся и закрыл глаза.

Его разбудил шорох. В соседней палате кто-то

шагал и говорил полушепотом. При тусклом свете ночников и лампад возле кровати Михайлы двигались три фигуры.

— Понесем с кроватью аль так? — спросила одна из них.

— Так. Не пройдешь с кроватью. Эка, помер не вовремя, царство небесное!

Один взял Михайлу за плечи, другой — за ноги и приподняли: руки Михайлы и полы его халата слабо повисли в воздухе. Третий — это был мужик, похожий на бабу, — закрестился, и все трое, беспорядочно стуча ногами и ступая на полы Михайлы, пошли из палаты.

В груди спавшего старика раздавались свист и разноголосое пение. Пашка прислушался, взглянул на темные окна и в ужасе вскочил с кровати.

— Ма-а-ма! — простонал он басом.

И, не дожидаясь ответа, он бросился в соседнюю палату. Тут свет лампадки и ночника еле-еле прояснял потемки; больные, потревоженные смертью Михайлы, сидели на своих кроватях; мешаясь с тенями, всклоченные, они представлялись шире, выше ростом и, казалось, становились все больше и больше; на крайней кровати в углу, где было темнее, сидел мужик и кивал головой и рукой.

Пашка, не разбирая дверей, бросился в палату оспенных, оттуда в коридор, из коридора влетел в большую комнату, где лежали и сидели на кроватях чудовища с длинными волосами и со старушечьими лицами. Пробежав через женское отделение, он опять очутился в коридоре, увидел перила знакомой лестницы и побежал вниз. Тут он узнал приемную, в которой сидел утром, и стал искать выходной двери.

Задвижка щелкнула, пахнул холодный ветер, и Пашка, спотыкаясь, выбежал на двор. У него была одна мысль — бежать и бежать! Дороги он не знал, но был уверен, что если побежит, то непременно очутится дома у матери. Ночь была пасмурная, но за облаками светила луна. Пашка побежал от крыльца прямо вперед, обогнул сарай и наткнулся на пустые кусты; постояв немного и подумав, он бросился назад, к больнице, обежал ее и опять остановился в нерешимости: за больничным корпусом белели могильные кресты.



— Ма-амка! — закричал он и бросился назад.

Пробегая мимо темных, суровых строений, он увидел одно освещенное окно.

Яркое красное пятно в потемках казалось страшным, но Пашка, обезумевший от страха, не знавший, куда бежать, повернул к нему. Рядом с окном было крыльцо со ступенями и парадная дверь с белой дощечкой;

Пашка взбежал на ступени, взглянул в окно, и

острая, захватывающая радость вдруг овладела им.

В окно он увидел веселого покладистого доктора, который сидел за столом и читал книгу. Смеясь от счастья, Пашка протянул к знакомому лицу руки, хотел крикнуть, но неведомая сила сжала его дыхание, ударила по ногам; он покачнулся и без чувств повалился на ступени.

Когда он пришел в себя, было уже светло и очень знакомый голос, обещавший вчера ярмарку, чижей и лисицу, говорил возле него:

— Ну и дурак, Пашка! Разве не дурак? Бить бы тебя, да некому.

Каштанка
Глава первая
Дурное поведение

Молодая рыжая собака — помесь такса с дворняжкой, — очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет: как это могло случиться, что она заблудилась?

Она отлично помнила, как она провела день и как в конце концов попала на этот незнакомый тротуар.

День начался с того, что ее хозяин, столяр Лука Александрыч, надел шапку, взял под мышку какую-то деревянную штуку, завернутую в красный платок, и крикнул:

— Каштанка, пойдем!

Услыхав свое имя, помесь такса с дворняжкой вышла из-под верстака, где она спала на стружках, сладко потянулась и побежала за хозяином. Заказчики Луки Александрыча жили ужасно далеко, так что, прежде чем дойти до каждого

из них, столяр должен был по нескольку раз заходить в трактир и подкрепляться. Каштанка помнила, что по дороге она вела себя крайне неприлично. От радости, что ее взяли гулять, она прыгала, бросалась с лаем на вагоны конножелезки, забегала во дворы и гонялась за собаками. Столяр то и дело терял ее из виду, останавливался и сердито кричал на нее. Раз даже он с выражением алчности на лице забрал в кулак ее лисье ухо, потрепал и проговорил с расстановкой:

— Чтоб… ты… из… дох… ла, холера!

Побывав у заказчиков, Лука Александрыч зашел на минутку к сестре, у которой пил и закусывал; от сестры пошел он к знакомому переплетчику, от переплетчика в трактир, из трактира к куму и т. д. Одним словом, когда Каштанка попала на незнакомый тротуар, то уже вечерело и столяр был пьян как сапожник. Он размахивал руками и, глубоко вздыхая, бормотал:

— Во гресех роди мя мати во утробе моей! Ох, грехи, грехи! Теперь вот мы по улице идем и на фонарики глядим, а как помрем — в гиене огненной гореть будем…

Или же он впадал в добродушный тон, подзывал к себе Каштанку и говорил ей:

— Ты, Каштанка, насекомое существо, и боль-

ше ничего. Супротив человека ты все равно что плотник супротив столяра…

Когда он разговаривал с ней таким образом, вдруг загремела музыка. Каштанка оглянулась и увидела, что по улице прямо на нее шел полк солдат. Не вынося музыки, которая расстраивала ей нервы, она заметалась и завыла. К великому ее удивлению, столяр, вместо того чтобы испугаться, завизжать и залаять, широко улыбнулся, вытянулся во фрунт и всей пятерней сделал под козырек. Видя, что хозяин не протестует, Каштанка еще громче завыла и, не помня себя, бросилась через дорогу на другой тротуар.

Когда она опомнилась, музыка уже не играла и полка не было. Она перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина, но — увы! — столяра уже там не было. Она бросилась вперед, потом назад, еще раз перебежала дорогу, но столяр точно сквозь землю провалился… Каштанка стала обнюхивать тротуар, надеясь найти хозяина по запаху его следов, но раньше какой-то негодяй прошел в новых резиновых калошах, и теперь все тонкие запахи мешались с острою каучуковою вонью, так что ничего нельзя было разобрать.

Каштанка бегала взад и вперед и не находила хозяина, а между тем становилось темно. По обе

стороны улицы зажглись фонари, и в окнах домов показались огни. Шел крупный, пушистый снег и красил в белое мостовую, лошадиные спины, шапки извозчиков, и чем больше темнел воздух, тем белее становились предметы. Мимо Каштанки, заслоняя ей поле зрения и толкая ее ногами, безостановочно взад и вперед проходили незнакомые заказчики. (Все человечество Каштанка делила на две очень неравные части: на хозяев и на заказчиков; между теми и другими была существенная разница: первые имели право бить ее, а вторых она сама имела право хватать за икры.) Заказчики куда-то спешили и не обращали на нее никакого внимания.

Когда стало совсем темно, Каштанкою овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. Целодневное путешествие с Лукой Александрычем утомило ее, уши и лапы ее озябли, и к тому же еще она была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только два раза: покушала у переплетчика немножко клейстеру да в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную кожицу — вот и всё. Если бы она была человеком, то, наверное, подумала бы: «Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться!»

Глава вторая
Таинственный незнакомец

Но она ни о чем не думала и только плакала. Когда мягкий, пушистый снег совсем облепил ее спину и голову и она от изнеможения погрузилась в тяжелую дремоту, вдруг подъездная дверь щелкнула, запищала и ударила ее по боку. Она вскочила. Из отворенной двери вышел какой-то человек, принадлежащий к разряду заказчиков. Так как Каштанка взвизгнула и попала ему под ноги, то он не мог не обратить на нее внимания. Он нагнулся к ней и спросил:

— Псина, ты откуда? Я тебя ушиб? О, бедная, бедная… Ну, не сердись, не сердись… Виноват.

Каштанка поглядела на незнакомца сквозь снежинки, нависшие на ресницы, и увидела перед собой коротенького и толстенького человечка с бритым пухлым лицом, в цилиндре и в шубе нараспашку.



— Что же ты скулишь? — продолжал он, сбивая пальцем с ее спины снег. — Где твой хозяин? Должно быть, ты потерялась? Ах, бедный песик! Что же мы теперь будем делать?

Уловив в голосе незнакомца теплую, душевную нотку, Каштанка лизнула ему руку и заскулила еще жалостнее.

— А ты хорошая, смешная! — сказал незнакомец. — Совсем лисица! Ну что ж, делать нечего, пойдем со мной! Может быть, ты и сгодишься на что-нибудь… Ну, фюйть!

Он чмокнул губами и сделал Каштанке знак рукой, который мог означать только одно: «Пойдем!» Каштанка пошла.

Не больше как через полчаса она уже сидела на полу в большой, светлой комнате и, склонив голову набок, с умилением и с любопытством глядела на незнакомца, который сидел за столом и обедал. Он ел и бросал ей кусочки… Сначала он дал ей хлеба и зеленую корочку сыра, потом кусочек мяса, полпирожка, куриных костей, а она с голодухи все это съела так быстро, что не успела разобрать вкуса. И чем больше она ела, тем сильнее чувствовался голод.

— Однако плохо же кормят тебя твои хозяева! — говорил незнакомец, глядя, с какою свирепою жадностью она глотала неразжеванные куски. — И какая ты тощая! Кожа да кости…

Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды. После обеда она разлеглась среди комнаты, протянула ноги и, чувствуя во всем теле приятную истому, завиляла хвостом. Пока ее новый хозяин, развалившись в кресле, курил сигару, она виляла хвостом и решала вопрос: где лучше — у незнакомца или у столяра? У незнакомца обстановка бедная и некрасивая; кроме кресел, дивана, лампы и ковров, у него нет

ничего, и комната кажется пустою; у столяра же вся квартира битком набита вещами; у него есть стол, верстак, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, клетка с чижиком, лохань… У незнакомца не пахнет ничем, у столяра же в квартире всегда стоит туман и великолепно пахнет клеем, лаком и стружками. Зато у незнакомца есть одно очень важное преимущество — он дает много есть и, надо отдать ему полную справедливость, когда Каштанка сидела перед столом и умильно глядела на него, он ни разу не ударил ее, не затопал ногами и ни разу не крикнул: «По-ошла вон, треклятая!»

Выкурив сигару, новый хозяин вышел и через минуту вернулся, держа в руках маленький матрасик.

— Эй ты, пес, поди сюда! — сказал он, кладя матрасик в углу около дивана. — Ложись здесь. Спи!

Затем он потушил лампу и вышел. Каштанка разлеглась на матрасике и закрыла глаза; с улицы послышался лай, и она хотела ответить на него, но вдруг неожиданно ею овладела грусть. Она вспомнила Луку Александрыча, его сына Федюшку, уютное местечко под верстаком… Вспомнила она, что в длинные зимние вечера, когда столяр строгал или читал вслух газету, Федюшка обыкно-

венно играл с нею… Он вытаскивал ее за задние лапы из-под верстака и выделывал с нею такие фокусы, что у нее зеленело в глазах и болело во всех суставах. Он заставлял ее ходить на задних лапах, изображал из нее колокол, то есть сильно дергал ее за хвост, отчего она визжала и лаяла, давал ей нюхать табаку… Особенно мучителен был следующий фокус: Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его Каштанке, потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из ее желудка. И чем ярче были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила Каштанка.

Но скоро утомление и теплота взяли верх над грустью… Она стала засыпать. В ее воображении забегали собаки; пробежал, между прочим, и мохнатый старый пудель, которого она видела сегодня на улице, с бельмом на глазу и с клочьями шерсти около носа. Федюшка, с долотом в руке, погнался за пуделем, потом вдруг сам покрылся мохнатой шерстью, весело залаял и очутился около Каштанки. Каштанка и он добродушно понюхали друг другу носы и побежали на улицу…

Глава третья
Новое, очень приятное знакомство

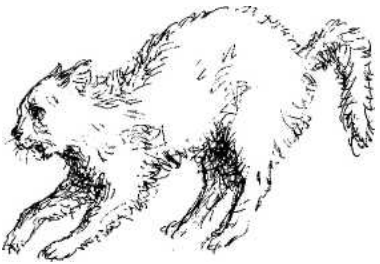
Когда Каштанка проснулась, было уже светло и с улицы доносился шум, какой бывает только днем. В комнате не было ни души. Каштанка потянулась, зевнула и, сердитая, угрюмая, прошлась по комнате. Она обнюхала углы и мебель, заглянула в переднюю и не нашла ничего интересного. Кроме двери, которая вела в переднюю, была еще одна дверь. Подумав, Каштанка поцарапала ее обеими лапами, отворила и вошла в следующую комнату. Тут на кровати, укрывшись байковым одеялом, спал заказчик, в котором она узнала вчерашнего незнакомца.



«Рррр...» — заворчала она, но, вспомнив про вчерашний обед, завиляла хвостом и стала нюхать.

Она понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что они очень пахнут лошадью. Из спальни вела куда-то еще одна дверь, тоже затворенная. Каштанка поцарапала эту дверь, налегла на нее грудью, отворила и тотчас же почувствовала странный, очень подозрительный запах. Предчувствуя неприятную встречу, ворча и оглядываясь, Каштанка вошла в маленькую комнатку с грязными обоями и в страхе попятилась назад.

Она увидела нечто неожиданное и страшное.



Пригнув к земле шею и голову, растопырив крылья и шипя, прямо на нее шел серый гусь. Несколько в стороне от него, на матрасике, лежал белый кот; увидев Каштанку, он вскочил, выгнул спину в дугу, задрал хвост, взъерошил шерсть и тоже зашипел. Собака испугалась не на шутку, но, не желая выдавать своего страха, громко залаяла и бросилась к коту… Кот еще сильнее выгнул спину, зашипел и ударил Каштанку лапой по голове. Каштанка отскочила, присела на все четыре лапы и, протягивая к коту морду, залилась громким, визгливым лаем; в это время гусь подошел сзади и больно долбанул ее клювом в спину. Каштанка вскочила и бросилась на гуся…

— Это что такое? — послышался громкий, сердитый голос, и в комнату вошел незнакомец в

халате и с сигарой в зубах. — Что это значит? На место!

Он подошел к коту, щелкнул его по выгнутой спине и сказал:

— Федор Тимофеич, это что значит? Драку подняли? Ах ты, старая каналья! Ложись!

И, обратившись к гусю, он крикнул:

— Иван Иваныч, на место!

Кот покорно лег на свой матрасик и закрыл глаза. Судя по выражению его морды и усов, он сам был недоволен, что погорячился и вступил в драку. Каштанка обиженно заскулила, а гусь вытянул шею и заговорил о чем-то быстро, горячо и отчетливо, но крайне непонятно.

— Ладно, ладно! — сказал хозяин, зевая. — Надо жить мирно и дружно. — Он погладил Каштанку и продолжал: — А ты, рыжик, не бойся… Это хорошая публика, не обидит. Постой, как же мы тебя звать будем? Без имени нельзя, брат.

Незнакомец подумал и сказал:

— Вот что… Ты будешь — Тетка… Понимаешь? Тетка!

И, повторив несколько раз слово «Тетка», он вышел. Каштанка села и стала наблюдать. Кот неподвижно сидел на матрасике и делал вид, что спит. Гусь, вытягивая шею и топчась на одном

месте, продолжал говорить о чем-то быстро и горячо. По-видимому, это был очень умный гусь; после каждой длинной тирады он всякий раз удивленно пятился назад и делал вид, что восхищается своею речью… Послушав его и ответив ему «рррр…», Каштанка принялась обнюхивать углы. В одном из углов стояло маленькое корытце, в котором она увидела моченый горох и размокшие ржаные корки. Она попробовала горох — невкусно, попробовала корки — и стала есть. Гусь нисколько не обиделся, что незнакомая собака поедает его корм, а, напротив, заговорил еще горячее и, чтобы показать свое доверие, сам подошел к корытцу и съел несколько горошинок.

Глава четвертая
Чудеса в решете

Немного погодя опять вошел незнакомец и принес с собой какую-то странную вещь, похожую на ворота и на букву «П». На перекладине этого деревянного, грубо сколоченного «П» висел колокол и был привязан пистолет; от языка колокола и от курка пистолета тянулись веревочки. Незнакомец поставил «П» посреди комнаты, долго что-то

развязывал и завязывал, потом посмотрел на гуся и сказал:

— Иван Иваныч, пожалуйте!

Гусь подошел к нему и остановился в ожидательной позе.

— Ну-с, — сказал незнакомец, — начнем с самого начала. Прежде всего поклонись и сделай реверанс! Живо!

Иван Иваныч вытянул шею, закивал во все стороны и шаркнул лапкой.

— Так, молодец… Теперь умри!

Гусь лег на спину и задрал вверх лапы. Проделав еще несколько подобных неважных фокусов, незнакомец вдруг схватил себя за голову, изобразил на своем лице ужас и закричал:

— Караул! Пожар! Горим!

Иван Иваныч подбежал к «П», взял в клюв веревку и зазвонил в колокол.

Незнакомец остался очень доволен. Он погладил гуся по шее и сказал:

— Молодец, Иван Иваныч! Теперь представь, что ты ювелир и торгуешь золотом и брильянтами. Представь теперь, что ты приходишь к себе в магазин и застаешь в нем воров. Как бы ты поступил в данном случае?

Гусь взял в клюв другую веревочку и потянул,

отчего тотчас же раздался оглушительный выстрел. Каштанке очень понравился звон, а от выстрела она пришла в такой восторг, что забегала вокруг «П» и залаяла.

— Тетка, на место! — крикнул ей незнакомец. — Молчать!

Работа Ивана Иваныча не кончилась стрельбой. Целый час потом незнакомец гонял его вокруг себя на корде и хлопал бичом, причем гусь должен был прыгать через барьер и сквозь обруч, становиться на дыбы, то есть садиться на хвост и махать лапками. Каштанка не отрывала глаз от Ивана Иваныча, завывала от восторга и несколько раз принималась бегать за ним со звонким лаем. Утомив гуся и себя, незнакомец вытер со лба пот и крикнул:

— Марья, позови-ка сюда Хавронью Ивановну!

Через минуту послышалось хрюканье… Каштанка заворчала, приняла очень храбрый вид и на всякий случай подошла поближе к незнакомцу. Отворилась дверь, в комнату поглядела какая-то старуха и, сказав что-то, впустила черную, очень некрасивую свинью. Не обращая никакого внимания на ворчание Каштанки, свинья подняла вверх свой пятачок и весело захрюкала. По-видимому, ей было очень приятно

видеть своего хозяина, кота и Ивана Иваныча. Когда она подошла к коту и слегка толкнула его под живот своим пятачком и потом о чем-то заговорила с гусем, в ее движениях, в голосе и в дрожании хвостика чувствовалось много добродушия. Каштанка сразу поняла, что ворчать и лаять на таких субъектов — бесполезно.

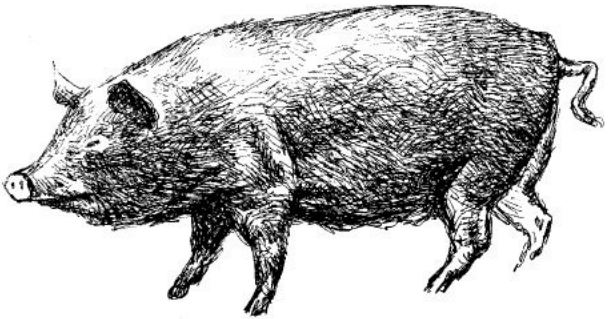
Хозяин убрал «П» и крикнул:

— Федор Тимофеич, пожалуйте!

Кот поднялся, лениво потянулся и нехотя, точно делая одолжение, подошел к свинье.

— Ну-с, начнем с «египетской пирамиды», — начал хозяин.

Он долго объяснял что-то, потом скомандовал: «Раз… два… три!» Иван Иваныч при слове «три» взмахнул крыльями и вскочил на спину свиньи…



Когда он, балансируя крыльями и шеей, укрепился на щетинистой спине, Федор Тимофеич вяло и лениво, с явным пренебрежением и с таким видом, как будто он презирает и ставит ни в грош свое искусство, полез на спину свиньи, потом нехотя взобрался на гуся и стал на задние лапы. Получилось то, что незнакомец называл «египетской пирамидой». Каштанка взвизгнула от восторга, но в это время старик кот зевнул и, потеряв равновесие, свалился с гуся. Иван Иваныч пошатнулся и тоже свалился. Незнакомец закричал, замахал руками и стал опять что-то объяснять. Провозившись целый час с «пирамидой», неутомимый хозяин принялся учить Ивана Иваныча ездить верхом на коте, потом стал учить

кота курить и т. п.

Ученье кончилось тем, что незнакомец вытер со лба пот и вышел. Федор Тимофеич брезгливо фыркнул, лег на матрасик и закрыл глаза, Иван Иваныч направился к корытцу, а свинья была уведена старухой. Благодаря массе новых впечатлений день прошел для Каштанки незаметно, а вечером она со своим матрасиком была уже водворена в комнатке с грязными обоями и ночевала в обществе Федора Тимофеича и гуся.

Глава пятая
Талант! Талант!

Прошел месяц.

Каштанка уже привыкла к тому, что ее каждый вечер кормили вкусным обедом и звали Теткой. Привыкла она и к незнакомцу, и к своим новым сожителям. Жизнь потекла как по маслу.

Все дни начинались одинаково. Обыкновенно раньше всех просыпался Иван Иваныч и тотчас же подходил к Тетке или к коту, выгибал шею и начинал говорить о чем-то горячо и убедительно, но по-прежнему непонятно. Иной раз он поднимал вверх голову и произносил длинные монологи. В первые дни знакомства Каштанка

думала, что он говорит много потому, что очень умен, но прошло немного времени, и она потеряла к нему всякое уважение; когда он подходил к ней со своими длинными речами, она уж не виляла хвостом, а третировала его, как надоедливого болтуна, который не дает никому спать, и без всякой церемонии отвечала ему: «Рррр»…

Федор же Тимофеич был иного рода господин. Этот, проснувшись, не издавал никакого звука, не шевелился и даже не открывал глаз. Он охотно бы не просыпался, потому что, как видно было, он недолюбливал жизни. Ничто его не интересовало, ко всему он относился вяло и небрежно, все презирал и даже, поедая свой вкусный обед, брезгливо фыркал.

Проснувшись, Каштанка начинала ходить по комнатам и обнюхивать углы. Только ей и коту позволялось ходить по всей квартире; гусь же не имел права переступать порог комнатки с грязными обоями, а Хавронья Ивановна жила где-то на дворе в сарайчике и появлялась только во время учения. Хозяин просыпался поздно и, напившись чаю, тотчас же принимался за свои фокусы. Каждый день в комнатку вносились «П», бич, обручи, и каждый день проделывалось почти одно и то же. Учение продолжалось часа

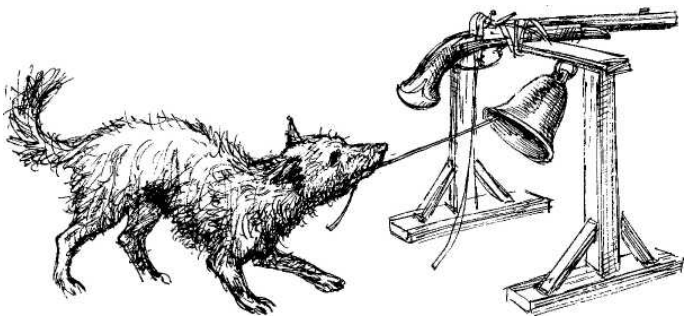
три-четыре, так что иной раз Федор Тимофеич от утомления пошатывался, как пьяный, Иван Иваныч раскрывал клюв и тяжело дышал, а хозяин становился красным и никак не мог стереть со лба пот.

Учение и обед делали дни очень интересными, вечера же проходили скучновато. Обыкновенно вечерами хозяин уезжал куда-то и увозил с собою гуся и кота. Оставшись одна, Тетка ложилась на матрасик и начинала грустить… Грусть подкрадывалась к ней как-то незаметно и овладевала ею постепенно, как потемки комнатой. Начиналось с того, что у собаки пропадала всякая охота лаять, есть, бегать по комнатам и даже глядеть, затем в воображении ее появлялись какие-то две неясные фигуры, не то собаки, не то люди, с физиономиями симпатичными, милыми, но непонятными; при появлении их Тетка виляла хвостом, и ей казалось, что она их где-то когда-то видела и любила… А засыпая, она всякий раз чувствовала, что от этих фигурок пахнет клеем, стружками и лаком.

Когда она совсем уже свыклась с новой жизнью и из тощей, костлявой дворняжки обратилась в сытого, выхоленного пса, однажды перед учением хозяин погладил ее и сказал:

— Пора нам, Тетка, делом заняться. Довольно тебе бить баклуши. Я хочу из тебя артистку сделать… Ты хочешь быть артисткой?

И он стал учить ее разным наукам. В первый урок она училась стоять и ходить на задних лапах, что ей ужасно нравилось. Во второй урок она должна была прыгать на задних лапах и хватать сахар, который высоко над ее головой держал учитель. Затем в следующие уроки она плясала, бегала на корде, выла под музыку, звонила и стреляла, а через месяц уже могла с успехом заменять Федора Тимофеича в «египетской пирамиде». Училась она очень охотно и была довольна своими успехами; бегание с высунутым языком на корде, прыгание в обруч и езда верхом на старом Федоре Тимофеиче доставляли ей величайшее наслаждение. Всякий удавшийся фокус она сопровождала звонким, восторженным лаем, а учитель удивлялся, приходил тоже в восторг и потирал руки.



— Талант! Талант! — говорил он. — Несомненный талант! Ты положительно будешь иметь успех!

И Тетка так привыкла к слову «талант», что всякий раз, когда хозяин произносил его, вскакивала и оглядывалась, как будто оно было ее кличкой.

Глава шестая
Беспокойная ночь

Тетке приснился собачий сон, будто за нею гонится дворник с метлой, и она проснулась от

страха.

В комнатке было тихо, темно и очень душно. Кусались блохи. Тетка раньше никогда не боялась потемок, но теперь почему-то ей стало жутко и захотелось лаять. В соседней комнате громко вздохнул хозяин, потом, немного погодя, в своем сарайчике хрюкнула свинья, и опять все смолкло. Когда думаешь об еде, то на душе становится легче, и Тетка стала думать о том, как она сегодня украла у Федора Тимофеича куриную лапку и спрятала ее в гостиной между шкапом и стеной, где очень много паутины и пыли. Не мешало бы теперь пойти и посмотреть: цела эта лапка или нет? Очень может быть, что хозяин нашел ее и скушал. Но раньше утра нельзя выходить из комнатки — такое правило. Тетка закрыла глаза, чтобы поскорее уснуть, так как она знала по опыту, что чем скорее уснешь, тем скорее наступит утро. Но вдруг недалеко от нее раздался странный крик, который заставил ее вздрогнуть и вскочить на все четыре лапы. Это крикнул Иван Иваныч, и крик его был не болтливый и убедительный, как обыкновенно, а какой-то дикий, пронзительный и неестественный, похожий на скрип отворяемых ворот. Ничего не разглядев в потемках и не поняв, Тетка почувствовала еще больший страх

и проворчала:

«Рррр…»

Прошло немного времени, сколько его требуется на то, чтобы обглодать хорошую кость; крик не повторялся. Тетка мало-помалу успокоилась и задремала. Ей приснились две большие черные собаки с клочьями прошлогодней шерсти на бедрах и на боках; они из большой лохани с жадностью ели помои, от которых шел белый пар и очень вкусный запах; изредка они оглядывались на Тетку, скалили зубы и ворчали: «А тебе мы не дадим!» Но из дому выбежал мужик в шубе и прогнал их кнутом; тогда Тетка подошла к лохани и стала кушать, но, как только мужик ушел за ворота, обе черные собаки с ревом бросились на нее, и вдруг опять раздался пронзительный крик.

«К-ге! К-ге-ге!» — крикнул Иван Иваныч.

Тетка проснулась, вскочила и, не сходя с матрасика, залилась воющим лаем. Ей уже казалось, что кричит не Иван Иваныч, а кто-то другой, посторонний. И почему-то в сарайчике опять хрюкнула свинья.

Но вот послышалось шаркание туфель, и в комнатку вошел хозяин в халате и со свечой. Мелькающий свет запрыгал по грязным обоям и по потолку и прогнал потемки. Тетка увидела,

что в комнатке нет никого постороннего. Иван Иваныч сидел на полу и не спал. Крылья у него были растопырены и клюв раскрыт, и вообще он имел такой вид, как будто очень утомился и хотел пить. Старый Федор Тимофеич тоже не спал. Должно быть, и он был разбужен криком.

— Иван Иваныч, что с тобой? — спросил хозяин у гуся. — Что ты кричишь! Ты болен?

Гусь молчал. Хозяин потрогал его за шею, погладил по спине и сказал:

— Ты чудак! И сам не спишь, и другим не даешь.

Когда хозяин вышел и унес с собою свет, опять наступили потемки. Тетке было страшно. Гусь не кричал, но ей опять стало чудиться, что в потемках стоит кто-то чужой. Страшнее всего было то, что этого чужого нельзя было укусить, так как он был невидим и не имел формы. И почему-то она думала, что в эту ночь должно непременно произойти что-то очень худое. Федор Тимофеич тоже был непокоен. Тетка слышала, как он возился на своем матрасике, зевал и встряхивал головой.

Где-то на улице застучали в ворота, и в сарайчике хрюкнула свинья. Тетка заскулила, протянула передние лапы и положила на них голову. В стуке ворот, в хрюканье не спавшей почему-то свиньи,

в потемках и в тишине почудилось ей что-то такое же тоскливое и страшное, как в крике Ивана Иваныча. Все было в тревоге и в беспокойстве, но отчего? Кто этот чужой, которого не было видно? Вот около Тетки на мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искорки. Это в первый раз за все время знакомства подошел к ней Федор Тимофеич. Что ему нужно было? Тетка лизнула ему лапу и, не спрашивая, зачем он пришел, завыла тихо и на разные голоса.

«К-ге! — крикнул Иван Иваныч. — К-ге-ге!»

Опять отворилась дверь, и вошел хозяин со свечой. Гусь сидел в прежней позе, с разинутым клювом и растопырив крылья. Глаза у него были закрыты.

— Иван Иваныч! — позвал хозяин.

Гусь не шевельнулся. Хозяин сел перед ним на полу, минуту глядел на него молча и сказал:

— Иван Иваныч! Что же это такое? Умираешь ты, что ли? Ах, я теперь вспомнил, вспомнил! — вскрикнул он и схватил себя за голову. — Я знаю, отчего это! Это оттого, что сегодня на тебя наступила лошадь! Боже мой, Боже мой!

Тетка не понимала, что говорит хозяин, но по его лицу видела, что и он ждет чего-то ужасного. Она протянула морду к темному окну, в которое,

как казалось ей, глядел кто-то чужой, и завыла.

— Он умирает, Тетка! — сказал хозяин и всплеснул руками. — Да, да, умирает! К вам в комнату пришла смерть. Что нам делать?

Бледный, встревоженный хозяин, вздыхая и покачивая головой, вернулся к себе в спальню. Тетке жутко было оставаться в потемках, и она пошла за ним. Он сел на кровать и несколько раз повторил:

— Боже мой, что же делать?

Тетка ходила около его ног и, не понимая, отчего это у нее такая тоска и отчего все так беспокоятся, и стараясь понять, следила за каждым его движением. Федор Тимофеич, редко покидавший свой матрасик, тоже вошел в спальню хозяина и стал тереться около его ног. Он встряхивал головой, как будто хотел вытряхнуть из нее тяжелые мысли, и подозрительно заглядывал под кровать.

Хозяин взял блюдечко, налил в него из рукомойника воды и опять пошел к гусю.

— Пей, Иван Иваныч! — сказал он нежно, ставя перед ним блюдечко. — Пей, голубчик.

Но Иван Иваныч не шевелился и не открывал глаз. Хозяин пригнул его голову к блюдечку и окунул клюв в воду, но гусь не пил, еще шире растопырил крылья, и голова его так и осталась

лежать в блюдечке.

— Нет, ничего уже нельзя сделать! — вздохнул хозяин. — Все кончено. Пропал Иван Иваныч!

И по его щекам поползли вниз блестящие капельки, какие бывают на окнах во время дождя. Не понимая, в чем дело, Тетка и Федор Тимофеич жались к нему и с ужасом смотрели на гуся.

— Бедный Иван Иваныч! — говорил хозяин, печально вздыхая. — А я-то мечтал, что весной повезу тебя на дачу и буду гулять с тобой по зеленой травке. Милое животное, хороший мой товарищ, тебя уже нет! Как же я теперь буду обходиться без тебя?

Тетке казалось, что и с нею случится то же самое, то есть что и она тоже вот так, неизвестно отчего, закроет глаза, протянет лапы, оскалит рот, и все на нее будут смотреть с ужасом. По-видимому, такие же мысли бродили и в голове Федора Тимофеича. Никогда раньше старый кот не был так угрюм и мрачен, как теперь.

Начинался рассвет, и в комнатке уже не было того невидимого чужого, который пугал так Тетку. Когда совсем рассвело, пришел дворник, взял гуся за лапы и унес его куда-то. А немного погодя явилась старуха и вынесла корытце.

Тетка пошла в гостиную и посмотрела за шкап:

хозяин не скушал куриной лапки, она лежала на своем месте, в пыли и паутине. Но Тетке было скучно, грустно и хотелось плакать. Она даже не понюхала лапки, а пошла под диван, села там и начала скулить тихо, тонким голоском:

«Ску-ску-ску…»

Глава седьмая
Неудачный дебют

В один прекрасный вечер хозяин вошел в комнатку с грязными обоями и, потирая руки, сказал:

— Ну-с…

Что-то он хотел еще сказать, но не сказал и вышел. Тетка, отлично изучившая во время уроков его лицо и интонацию, догадалась, что он был взволнован, озабочен и, кажется, сердит. Немного погодя он вернулся и сказал:

— Сегодня я возьму с собой Тетку и Федора Тимофеича. В «египетской пирамиде» ты, Тетка, заменишь сегодня покойного Ивана Иваныча. Черт знает что! Ничего не готово, не выучено, репетиций было мало! Осрамимся, провалимся!

Затем он опять вышел и через минуту вернулся в шубе и в цилиндре. Подойдя к коту, он взял его

за передние лапы, поднял и спрятал его на груди под шубу, причем Федор Тимофеич казался очень равнодушным и даже не потрудился открыть глаз. Для него, по-видимому, было решительно все равно: лежать ли или быть поднятым за ноги, валяться ли на матрасике или покоиться на груди хозяина под шубой…

— Тетка, пойдем, — сказал хозяин.

Ничего не понимая и виляя хвостом, Тетка пошла за ним. Через минуту она уже сидела в санях около ног хозяина и слушала, как он, пожимаясь от холода и волнения, бормотал:

— Осрамимся! Провалимся!

Сани остановились около большого странного дома, похожего на опрокинутый супник. Длинный подъезд этого дома с тремя стеклянными дверями был освещен дюжиной ярких фонарей. Двери со звоном отворялись и, как рты, глотали людей, которые сновали у подъезда. Людей было много, часто к подъезду подбегали и лошади, но собак не было видно.

Хозяин взял на руки Тетку и сунул ее на грудь, под шубу, где находился Федор Тимофеич. Тут было темно и душно, но тепло. На мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искорки — это открыл глаза кот, обеспокоенный холодными

жесткими лапами соседки. Тетка лизнула его ухо и, желая усесться возможно удобнее, беспокойно задвигалась, смяла его под себя холодными лапами и нечаянно высунула из-под шубы голову, но тотчас же сердито заворчала и нырнула под шубу. Ей показалось, что она увидела громадную, плохо освещенную комнату, полную чудовищ; из-за перегородок и решеток, которые тянулись по обе стороны комнаты, выглядывали страшные рожи: лошадиные, рогатые, длинноухие и какая-то одна толстая, громадная рожа с хвостом вместо носа и с двумя длинными обглоданными костями, торчащими изо рта.

Кот сипло замяукал под лапами Тетки, но в это время шуба распахнулась, хозяин сказал «гоп!», и Федор Тимофеич с Теткою прыгнули на пол. Они уже были в маленькой комнате с серыми дощатыми стенами; тут кроме небольшого столика с зеркалом, табурета и тряпья, развешанного по углам, не было никакой другой мебели, и, вместо лампы или свечи, горел яркий веерообразный огонек, приделанный к трубочке, вбитой в стену. Федор Тимофеич облизал свою шубу, помятую Теткой, пошел под табурет и лег. Хозяин, все еще волнуясь и потирая руки, стал раздеваться… Он разделся так, как обыкновенно раздевался

у себя дома, готовясь лечь под байковое одеяло, то есть снял все, кроме белья, потом сел на табурет и, глядя в зеркало, начал выделывать над собой удивительные штуки. Прежде всего он надел на голову парик с пробором и с двумя вихрами, похожими на рога, потом густо намазал лицо чем-то белым и сверх белой краски нарисовал еще брови, усы и румяна. Затеи его этим не кончились. Опачкавши лицо и шею, он стал облачаться в какой-то необыкновенный, ни с чем не сообразный костюм, какого Тетка никогда не видала раньше ни в домах, ни на улице. Представьте вы себе широчайшие панталоны, сшитые из ситца с крупными цветами, какой употребляется в мещанских домах для занавесок и обивки мебели, панталоны, которые застегиваются у самых подмышек; одна панталона сшита из коричневого ситца, другая из светло-желтого. Утонувши в них, хозяин надел еще ситцевую курточку с большим зубчатым воротником и с золотой звездой на спине, разноцветные чулки и зеленые башмаки…

У Тетки запестрило в глазах и в душе. От белолицей мешковатой фигуры пахло хозяином, голос у нее был тоже знакомый, хозяйский, но бывали минуты, когда Тетку мучили сомнения, и

тогда она готова была бежать от пестрой фигуры и лаять. Новое место, веерообразный огонек, запах, метаморфоза, случившаяся с хозяином, — все это вселяло в нее неопределенный страх и предчувствие, что она непременно встретится с каким-нибудь ужасом вроде толстой рожи с хвостом вместо носа. А тут еще где-то за стеной далеко играла ненавистная музыка и слышался временами непонятный рев. Одно только и успокаивало ее — это невозмутимость Федора Тимофеича. Он преспокойно дремал под табуретом и не открывал глаз, даже когда двигался табурет.

Какой-то человек во фраке и в белой жилетке заглянул в комнатку и сказал:

— Сейчас выход мисс Арабеллы. После нее — вы.

Хозяин ничего не ответил. Он вытащил из-под стола небольшой чемодан, сел и стал ждать. По губам и по рукам его было заметно, что он волновался, и Тетка слышала, как дрожало его дыхание.

— М-г Жорж, пожалуйте! — крикнул кто-то за дверью.

Хозяин встал и три раза перекрестился, потом достал из-под табурета кота и сунул его в чемодан.

— Иди, Тетка! — сказал он тихо.

Тетка, ничего не понимая, подошла к его рукам; он поцеловал ее в голову и положил рядом с Федором Тимофеичем. Засим наступили потемки… Тетка топталась по коту, царапала стенки чемодана и от ужаса не могла произнести ни звука, а чемодан покачивался, как на волнах, и дрожал…

— А вот и я! — громко крикнул хозяин. — А вот и я!

Тетка почувствовала, что после этого крика чемодан ударился о что-то твердое и перестал качаться. Послышался громкий густой рев: по ком-то хлопали, и этот кто-то, вероятно рожа с хвостом вместо носа, ревел и хохотал так громко, что задрожали замочки у чемодана. В ответ на рев раздался пронзительный, визгливый смех хозяина, каким он никогда не смеялся дома.

— Га! — крикнул он, стараясь перекричать рев. — Почтеннейшая публика! Я сейчас только с вокзала! У меня издохла бабушка и оставила мне наследство! В чемодане что-то очень тяжелое — очевидно, золото… Га-а! И вдруг здесь миллион! Сейчас мы откроем и посмотрим…

В чемодане щелкнул замок. Яркий свет ударил Тетку по глазам; она прыгнула вон из чемодана и, оглушенная ревом, быстро, во всю прыть забегала

вокруг своего хозяина и залилась звонким лаем.

— Га! — закричал хозяин. — Дядюшка Федор Тимофеич! Дорогая тетушка! Милые родственники, черт бы вас взял!

Он упал животом на песок, схватил кота и Тетку и принялся обнимать их. Тетка, пока он тискал ее в своих объятиях, мельком оглядела тот мир, в который занесла ее судьба, и, пораженная его грандиозностью, на минуту застыла от удивления и восторга, потом вырвалась из объятий хозяина и от остроты впечатления, как волчок, закружилась на одном месте. Новый мир был велик и полон яркого света; куда ни взглянешь, всюду, от пола до потолка, видны были одни только лица, лица, лица, и больше ничего.

— Тетушка, прошу вас сесть! — крикнул хозяин.

Помня, что это значит, Тетка вскочила на стул и села. Она поглядела на хозяина. Глаза его, как всегда, глядели серьезно и ласково, но лицо, в особенности рот и зубы, были изуродованы широкой неподвижной улыбкой. Сам он хохотал, прыгал, подергивал плечами и делал вид, что ему очень весело в присутствии тысячей лиц. Тетка поверила его веселости, вдруг почувствовала всем своим телом, что на нее смотрят эти тысячи

лиц, подняла вверх свою лисью морду и радостно завыла.

— Вы, Тетушка, посидите, — сказал ей хозяин, — а мы с дядюшкой попляшем камаринского.



Федор Тимофеич в ожидании, когда его заставят делать глупости, стоял и равнодушно поглядывал по сторонам. Плясал он вяло, небрежно, угрюмо, и видно было по его движениям, по хвосту и по усам, что он глубоко презирал и толпу, и яркий свет, и хозяина, и себя… Протанцевав свою порцию, он зевнул и сел.

— Ну-с, Тетушка, — сказал хозяин, — сначала мы с вами споем, а потом попляшем. Хорошо?

Он вынул из кармана дудочку и заиграл. Тетка, не вынося музыки, беспокойно задвигалась на стуле и завыла. Со всех сторон послышались рев и аплодисменты. Хозяин поклонился и, когда все стихло, продолжал играть… Во время исполнения одной очень высокой ноты где-то наверху среди публики кто-то громко ахнул.

— Тятька! — крикнул детский голос. — А ведь это Каштанка!

— Каштанка и есть! — подтвердил пьяненький дребезжащий тенорок. — Каштанка! Федюшка, это, накажи Бог, Каштанка! Фюйть!

Кто-то на галерее свистнул, и два голоса, один — детский, другой — мужской, громко позвали:

— Каштанка! Каштанка!

Тетка вздрогнула и посмотрела туда, где кричали. Два лица: одно волосатое, пьяное и

ухмыляющееся, другое — пухлое, краснощекое и испуганное — ударили ее по глазам, как раньше ударил яркий свет… Она вспомнила, упала со стула и забилась на песке, потом вскочила и с радостным визгом бросилась к этим лицам. Раздался оглушительный рев, пронизанный насквозь свистками и пронзительным детским криком:

— Каштанка! Каштанка!

Тетка прыгнула через барьер, потом через чье-то плечо, очутилась в ложе; чтобы попасть в следующий ярус, нужно было перескочить высокую стену; Тетка прыгнула, но не допрыгнула и поползла назад по стене. Затем она переходила с рук на руки, лизала чьи-то руки и лица, подвигалась все выше и выше и наконец попала на галерку…

Спустя полчаса Каштанка шла уже по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком. Лука Александрыч покачивался и инстинктивно, наученный опытом, старался держаться подальше от канавы.

— В бездне греховней валяюся во утробе моей… — бормотал он. — А ты, Каштанка, — недоумение. Супротив человека ты все равно что плотник супротив столяра.

Рядом с ним шагал Федюшка в отцовском картузе. Каштанка глядела им обоим в спины, и ей казалось, что она давно уже идет за ними и радуется, что жизнь ее не обрывалась ни на минуту.

Вспоминала она комнатку с грязными обоями, гуся, Федора Тимофеича, вкусные обеды, ученье, цирк, но все это представлялось ей теперь, как длинный, перепутанный, тяжелый сон…

Белолобый

Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Ее волчата, все трое, крепко спали, сбившись в кучу, и грели друг друга. Она облизала их и пошла.

Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, и едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать. Волчиха была слабого здоровья, мнительная; она вздрагивала от малейшего шума и все думала о том, как бы дома без нее кто не обидел волчат. Запах человеческих и лошадиных следов, пни, сложенные дрова и темная унавоженная дорога пугали ее; ей казалось, будто за деревьями в потемках стоят люди и где-то за лесом воют собаки.

Она была уже не молода, и чутье у нее ослабело, так что, случалось, лисий след она принимала за собачий и иногда даже, обманутая чутьем, сбивалась с дороги, чего с нею никогда не бывало в молодости. По слабости здоровья она уже не охотилась на телят и крупных баранов, как прежде, и уже далеко обходила лошадей с жеребятами, а питалась одною падалью; свежее мясо ей приходилось кушать очень редко, только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала

у нее детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята.

В верстах четырех от ее логовища, у почтовой дороги, стояло зимовье. Тут жил сторож Игнат, старик лет семидесяти, который все кашлял и разговаривал сам с собой; обыкновенно ночью он спал, а днем бродил по лесу с ружьем-одностволкой и посвистывал на зайцев. Должно быть, раньше он служил в механиках, потому что каждый раз, прежде чем остановиться, кричал себе: «Стоп, машина!» и прежде чем пойти дальше: «Полный ход!» При нем находилась громадная черная собака неизвестной породы, по имени Арапка. Когда она забегала далеко вперед, то он кричал ей: «Задний ход!»

Иногда он пел и при этом сильно шатался и часто падал (волчиха думала, что это от ветра) и кричал: «Сошел с рельсов!»

Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья паслись баран и две ярки, и когда она не так давно пробегала мимо, то ей послышалось, будто в хлеву блеяли. И теперь, подходя к зимовью, она соображала, что уже март и, судя по времени, в хлеву должны быть ягнята непременно. Ее мучил голод, она думала о том, с какою жадностью она будет есть ягненка, и от таких

мыслей зубы у нее щелкали и глаза светились в потемках, как два огонька.

Изба Игната, его сарай, хлев и колодец были окружены высокими сугробами. Было тихо. Арапка, должно быть, спала под сараем.

По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами и мордой соломенную крышу.

Солома была гнилая и рыхлая, так что волчиха едва не провалилась; на нее вдруг прямо в морду пахнуло теплым паром и запахом навоза и овечьего молока. Внизу, почувствовав холод, нежно заблеял ягненок. Прыгнув в дыру, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое и теплое, должно быть на барана, и в это время в хлеву что-то вдруг завизжало, залаяло и залилось тонким, подвывающим голоском, овцы шарахнулись к стенке, и волчиха, испугавшись, схватила, что первое попалось в зубы, и бросилась вон…

Она бежала, напрягая силы, а в это время Арапка, уже почуявшая волка, неистово выла, кудахтали в зимовье потревоженные куры, и Игнат, выйдя на крыльцо, кричал:

— Полный ход! Пошел к свистку!

И свистел, как машина, и потом — го-го-го-го!.. И весь этот шум повторяло лесное эхо.

Когда мало-помалу все это затихло, волчиха успокоилась немного и стала замечать, что ее добыча, которую она держала в зубах и волокла по снегу, была тяжелее и как будто тверже, чем обыкновенно бывают в эту пору ягнята; и пахло как будто иначе, и слышались какие-то странные звуки… Волчиха остановилась и положила свою ношу на снег, чтобы отдохнуть и начать есть, и вдруг отскочила с отвращением. Это был не ягненок, а щенок, черный, с большой головой и на высоких ногах, крупной породы, с таким же белым пятном во весь лоб, как у Арапки. Судя по манерам, это был невежа, простой дворняжка. Он облизал свою помятую, раненую спину и как ни в чем не бывало замахал хвостом и залаял на волчиху. Она зарычала, как собака, и побежала от него. Он за ней. Она оглянулась и щелкнула зубами; он остановился в недоумении и, вероятно решив, что это она играет с ним, протянул морду по направлению к зимовью и залился звонким радостным лаем, как бы приглашая мать свою Арапку поиграть с ним и с волчихой.

Уже светало, и когда волчиха пробиралась к себе густым осинником, то было видно отчетливо каждую осинку, и уже просыпались тетерева и часто вспархивали красивые петухи, обеспокоен-

ные неосторожными прыжками и лаем щенка.

«Зачем он бежит за мной? — думала волчиха с досадой. — Должно быть, он хочет, чтобы я его съела».

Жила она с волчатами в неглубокой яме; года три назад во время сильной бури вывернуло с корнем высокую старую сосну, отчего и образовалась эта яма. Теперь на дне ее были старые листья и мох, тут же валялись кости и бычьи рога, которыми играли волчата. Они уже проснулись и все трое, очень похожие друг на друга, стояли рядом на краю своей ямы и, глядя на возвращавшуюся мать, помахивали хвостами. Увидев их, щенок остановился поодаль и долго смотрел на них; наметив, что они тоже внимательно смотрят на него, он стал лаять на них сердито, как на чужих.



Уже рассвело и взошло солнце, засверкал кругом снег, а он все стоял поодаль и лаял. Волчата сосали свою мать, пихая ее лапами в тощий живот, а она в это время грызла лошадиную кость, белую и сухую; ее мучил голод, голова разболелась от собачьего лая, и хотелось ей броситься на непрошеного гостя и разорвать его.

Наконец щенок утомился и охрип; видя, что его не боятся и даже не обращают на него внимания, он стал несмело, то приседая, то подскакивая, подходить к волчатам. Теперь, при дневном свете, легко уже было рассмотреть его… Белый

лоб у него был большой, а на лбу бугор, какой бывает у очень глупых собак; глаза были маленькие, голубые, тусклые, а выражение всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя к волчатам, он протянул вперед широкие лапы, положил на них морду и начал: «Мня, мня… нга-нга-нга!..»

Волчата ничего не поняли, но замахали хвостами. Тогда щенок ударил лапой одного волчонка по большой голове. Волчонок тоже ударил его лапой по голове. Щенок стал к нему боком и посмотрел на него искоса, помахивая хвостом, потом вдруг рванулся с места и сделал несколько кругов по насту. Волчата погнались за ним, он упал на спину и задрал вверх ноги, а они втроем напали на него и, визжа от восторга, стали кусать его, но не больно, а в шутку. Вороны сидели на высокой сосне и смотрели сверху на их борьбу и очень беспокоились. Стало шумно и весело. Солнце припекало уже по-весеннему; и петухи, то и дело перелетавшие через сосну, поваленную бурей, при блеске солнца казались изумрудными.

Обыкновенно волчихи приучают своих детей к охоте, давая им поиграть добычей; и теперь, глядя, как волчата гонялись по насту за щенком и боролись с ним, волчиха думала: «Пускай приучаются».

Наигравшись, волчата пошли в яму и легли спать. Щенок повыл немного с голоду, потом также растянулся на солнышке. А проснувшись, опять стали играть.

Весь день и вечером волчиха вспоминала, как прошлою ночью в хлеву блеял ягненок и как пахло овечьим молоком, и от аппетита она все щелкала зубами и не переставала грызть с жадностью старую кость, воображая себе, что это ягненок. Волчата сосали, а щенок, который хотел есть, бегал кругом и обнюхивал снег.

«Съем-ка его…» — решила волчиха.

Она подошла к нему, а он лизнул ее в морду и заскулил, думая, что она хочет играть с ним. В былое время она едала собак, но от щенка сильно пахло псиной, и, по слабости здоровья, она уже не терпела этого запаха; ей стало противно, и она отошла прочь…

К ночи похолодело. Щенок соскучился и ушел домой.

Когда волчата крепко уснули, волчиха опять отправилась на охоту. Как и в прошлую ночь, она тревожилась малейшего шума, и ее пугали пни, дрова, темные, одиноко стоящие кусты можжевельника, издали похожие на людей. Она бежала в стороне от дороги, по насту. Вдруг далеко впе-

реди на дороге замелькало что-то темное… Она напрягла зрение и слух: в самом деле, что-то шло впереди, и даже слышны были мерные шаги. Не барсук ли? Она осторожно, чуть дыша, забирая все в сторону, обогнала темное пятно, оглянулась на него и узнала. Это, не спеша, шагом, возвращался к себе в зимовье щенок с белым лбом.

«Как бы он опять мне не помешал», — подумала волчиха и быстро побежала вперед.

Но зимовье было уже близко. Она опять взобралась на хлев по сугробу. Вчерашняя дыра была уже заделана яровой соломой, и по крыше протянулись две новые слеги. Волчиха стала быстро работать ногами и мордой, оглядываясь, не идет ли щенок, но едва пахнуло на нее теплым паром и запахом навоза, как сзади послышался радостный, заливчатый лай. Это вернулся щенок. Он прыгнул к волчихе на крышу, потом в дыру и, почувствовав себя дома, в тепле, узнав своих овец, залаял еще громче… Арапка проснулась под сараем и, почуяв волка, завыла, закудахтали куры, и когда на крыльце показался Игнат со своей одностволкой, то перепуганная волчиха была уже далеко от зимовья.

— Фюйть! — засвистел Игнат. — Фюйть! Гони на всех парах!

Он спустил курок — ружье дало осечку; он спустил еще раз — опять осечка; он спустил в третий раз — и громадный огненный сноп вылетел из ствола и раздалось оглушительное «бу! бу!». Ему сильно отдало в плечо; и, взявши в одну руку ружье, а в другую топор, он пошел посмотреть, отчего шум…

Немного погодя он вернулся в избу.

— Что там? — спросил хриплым голосом странник, ночевавший у него в эту ночь и разбуженный шумом.

— Ничего… — ответил Игнат. — Пустое дело. Повадился наш белолобый с овцами спать, в тепле. Только нет того понятия, чтобы в дверь, а норовит все как бы в крышу. Намедни ночью разобрал крышу и гулять ушел, подлец, а теперь вернулся и опять разворошил крышу.

— Глупый.

— Да, пружина в мозгу лопнула. Смерть не люблю глупых! — вздохнул Игнат, полезая на печь. — Ну, Божий человек, рано еще вставать, давай спать полным ходом…

А утром он подозвал к себе Белолобого, больно оттрепал его за уши и потом, наказывая его хворостиной, все приговаривал:

— Ходи в дверь! Ходи в дверь! Ходи в дверь!

Произведение искусства

Держа под мышкой что-то, завернутое в 223-й нумер «Биржевых ведомостей», Саша Смирнов, единственный сын у матери, сделал кислое лицо и вошел в кабинет доктора Кошелькова.

— А, милый юноша! — встретил его доктор. — Ну, как мы себя чувствуем? Что скажете хорошенького?

Саша заморгал глазами, приложил руку к сердцу и сказал взволнованным голосом:

— Кланялась вам, Иван Николаевич, мамаша и велела благодарить вас… Я единственный сын у матери, и вы спасли мне жизнь… вылечили от опасной болезни, и… мы оба не знаем, как благодарить вас.

— Полно, юноша! — перебил доктор, раскисая от удовольствия. — Я сделал только то, что всякий другой сделал бы на моем месте.

— Я единственный сын у своей матери… Мы люди бедные и, конечно, не можем заплатить вам за ваш труд, и… нам очень совестно, доктор, хотя, впрочем, мамаша и я… единственный сын у матери, убедительно просим вас принять в знак нашей благодарности… вот эту вещь, которая…

Вещь очень дорогая, из старинной бронзы… редкое произведение искусства.

— Напрасно! — поморщился доктор. — Ну к чему это?

— Нет, уж вы, пожалуйста, не отказывайтесь, — продолжал бормотать Саша, развертывая сверток. — Вы обидите отказом и меня и мамашу… Вещь очень хорошая… из старинной бронзы… Досталась она нам от покойного папаши, и мы хранили ее, как дорогую память… Мой папаша скупал старинную бронзу и продавал ее любителям… Теперь мамаша и я этим же занимаемся…

Саша развернул вещь и торжественно поставил ее на стол. Это был невысокий канделябр старой бронзы, художественной работы. Изображал он группу: на пьедестале стояли две женские фигуры в костюмах Евы и в позах, для описания которых у меня не хватает ни смелости, ни подобающего темперамента. Фигуры кокетливо улыбались и вообще имели такой вид, что, кажется, если бы не обязанность поддерживать подсвечник, то они спрыгнули бы с пьедестала и устроили бы в комнате такой дебош, о котором, читатель, даже и думать неприлично.

Поглядев на подарок, доктор медленно почесал за ухом, крякнул и нерешительно высморкался.

— Да, вещь действительно прекрасная, — пробормотал он, — но… как бы выразиться, не того… нелитературна слишком… Это уж не декольте, а черт знает что…



— То есть почему же?

— Сам змий-искуситель не мог бы придумать ничего сквернее. Ведь поставить на столе такую фантасмагорию — значит всю квартиру загадить!

— Как вы странно, доктор, смотрите на искусство! — обиделся Саша. — Ведь это художественная вещь, вы поглядите! Столько красоты и изящества, что душу наполняет благоговейное чувство и к горлу подступают слезы! Когда видишь такую красоту, то забываешь все земное… Вы поглядите, сколько движения, какая масса воздуху, экспрессии!

— Все это я отлично понимаю, милый мой, — перебил доктор, — но ведь я человек семейный, у меня тут детишки бегают, дамы бывают.

— Конечно, если смотреть с точки зрения толпы, — сказал Саша, — то, конечно, эта высокохудожественная вещь представляется в ином свете… Но, доктор, будьте выше толпы, тем более что своим отказом вы глубоко огорчите и меня и мамашу. Я единственный сын у матери… вы спасли мне жизнь… Мы отдаем вам самую дорогую для нас вещь, и… ия жалею только, что у вас нет пары для этого канделябра…

— Спасибо, голубчик, я очень благодарен…

Кланяйтесь мамаше, но, ей-богу, сами посудите, у меня тут детишки бегают, дамы бывают… Ну, впрочем, пусть остается! Ведь вам не втолкуешь.

— И толковать нечего, — обрадовался Саша. — Этот канделябр вы тут поставьте, вот около вазы. Эка жалость, что пары нет! Такая жалость! Ну, прощайте, доктор.

По уходе Саши доктор долго глядел на канделябр, чесал у себя за ухом и размышлял.

«Вещь превосходная, спора нет, — думал он, — и бросать ее жалко… Оставить же у себя невозможно… Гм!.. Вот задача! Кому бы ее подарить или пожертвовать?»

После долгого размышления он вспомнил про своего хорошего приятеля, адвоката Ухова, которому был должен за ведение дела.

— И отлично, — решил доктор. — Ему, как приятелю, неловко взять с меня деньги, и будет очень прилично, если я презентую ему вещь. Отвезу-ка я ему эту чертовщину! Кстати же, он холост и легкомыслен…

Не откладывая дела в дальний ящик, доктор оделся, взял канделябр и поехал к Ухову.

— Здорово, приятель! — сказал он, застав адвоката дома. — Як тебе… Пришел благодарить, братец, за твои труды… Денег не хочешь брать,

так возьми хоть эту вот вещицу… вот, братец ты мой… Вещица — роскошь!

Увидев вещицу, адвокат пришел в неописанный восторг.

— Вот так штука! — захохотал он. — Ах, черт подери его совсем, придумают же, черти, такую штуку! Чудесно! Восхитительно! Где ты достал такую прелесть?

Излив свой восторг, адвокат пугливо поглядел на двери и сказал:

— Только ты, брат, убери свой подарок. Я не возьму…

— Почему? — испугался доктор.

— А потому… У меня бывают тут мать, клиенты… да и от прислуги совестно.

— Ни-ни-ни… Не смеешь отказываться! — замахал руками доктор. — Это свинство с твоей стороны! Вещь художественная… сколько движения… экспрессии… И говорить не хочу! Обидишь!

— Хоть бы замазано было, или фиговые листочки нацепить…



Но доктор еще пуще замахал руками, выскочил из квартиры Ухова и, довольный, что сумел сбыть с рук подарок, поехал домой…

По уходе его адвокат осмотрел канделябр, потрогал его со всех сторон пальцами и, подобно доктору, долго ломал голову над вопросом: что делать с подарком?

«Вещь прекрасная, — рассуждал он, — и бросить жалко, и держать у себя неприлично. Самое лучшее — это подарить кому-нибудь… Вот что, поднесу-ка я этот канделябр сегодня вечером ко-

мику Шашкину. Каналья любит подобные штуки, да и, кстати же, у него сегодня бенефис…»

Сказано — сделано. Вечером тщательно завернутый канделябр был поднесен комику Шашкину. Весь вечер уборную комика брали приступом мужчины, приходившие полюбоваться на подарок; все время в уборной стоял восторженный гул и смех, похожий на лошадиное ржанье. Если какая-нибудь из актрис подходила к двери и спрашивала: «Можно войти?», то тотчас же слышался хриплый голос комика:

— Нет, нет, матушка! Я не одет!

После спектакля комик пожимал плечами, разводил руками и говорил:

— Ну, куда я эту гадость дену? Ведь я на частной квартире живу! У меня артистки бывают! Это не фотография, в стол не спрячешь!

— А вы, сударь, продайте, — посоветовал парикмахер, разоблачая комика. — Тут в предместье живет старуха, которая покупает старинную бронзу… Поезжайте и спросите Смирнову… Ее всякий знает.

Комик послушался… Дня через два доктор Кошельков сидел у себя в кабинете и, приложив палец ко лбу, думал о желчных кислотах. Вдруг отворилась дверь, и в кабинет влетел Саша Смир-

нов. Он улыбался, сиял, и вся его фигура дышала счастьем… В руках он держал что-то завернутое в газету.

— Доктор! — начал он, задыхаясь. — Представьте мою радость! На ваше счастье, нам удалось приобрести пару для вашего канделябра!.. Мамаша так счастлива… Я единственный сын у матери… вы спасли мне жизнь…

И Саша, дрожа от чувства благодарности, поставил перед доктором канделябр. Доктор разинул рот, хотел было что-то сказать, но не сказал ничего: у него отнялся язык.

В аптеке

Был поздний вечер. Домашний учитель Егор Алексеич Свойкин, чтобы не терять попусту времени, от доктора отправился прямо в аптеку.

«Словно к богатой содержанке идешь или к железнодорожнику, — думал он, взбираясь по аптечной лестнице, лоснящейся и устланной дорогими коврами. — Ступить страшно!»

Войдя в аптеку, Свойкин был охвачен запахом, присущим всем аптекам в свете. Наука и лекарства с годами меняются, но аптечный запах вечен, как материя. Его нюхали наши деды, будут нюхать и внуки. Публики, благодаря позднему часу, в аптеке не было. За желтой лоснящейся конторкой, уставленной вазочками с сигнатурами, стоял высокий господин с солидно закинутой назад головой, строгим лицом и с выхоленными бакенами — по всем видимостям, провизор. Начиная с маленькой плеши на голове и кончая длинными розовыми ногтями, все на этом человеке было старательно выутюжено, вычищено и словно вылизано, хоть под венец ступай. Нахмуренные глаза его глядели свысока вниз, на газету, лежавшую на конторке. Он читал. В

стороне за проволочной решеткой сидел кассир и лениво считал мелочь. По ту сторону прилавка, отделяющего латинскую кухню от толпы, в полумраке копошились две темные фигуры. Свойкин подошел к конторке и подал выутюженному господину рецепт. Тот, не глядя на него, взял рецепт, дочитал в газете до точки и, сделавши легкий полуоборот головы направо, пробормотал:

— Calomeli grana duo, sacchari albi grana quinque, numero decern![9]

— Ja![10] — послышался из глубины аптеки резкий металлический голос.

Провизор продиктовал тем же глухим, мерным голосом микстуру.

— Ja! — послышалось из другого угла.

Провизор написал что-то на рецепте, нахмурился и, закинув назад голову, опустил глаза на газету.

— Через час будет готово, — процедил он сквозь зубы, ища глазами точку, на которой остановился.

— Нельзя ли поскорее? — пробормотал Свойкин. — Мне решительно невозможно ждать.

---

[9] Примечания: 9
Каломели два грана, сахару пять гран, десять порошков! *(лат.)*

[10] Примечания: 10
Да! *(нем.)*

Провизор не ответил. Свойкин опустился на диван и принялся ждать. Кассир кончил считать мелочь, глубоко вздохнул и щелкнул ключом. В глубине одна из темных фигур завозилась около мраморной ступки. Другая фигура что-то болтала в синей склянке. Где-то мерно и осторожно стучали часы.

Свойкин был болен. Во рту у него горело, в ногах и руках стояли тянущие боли, в отяжелевшей голове бродили туманные образы, похожие на облака и закутанные человеческие фигуры. Провизора, полки с банками, газовые рожки, этажерки он видел сквозь флер[11], а однообразный стук о мраморную ступку и медленное тиканье часов, казалось ему, происходили не вне, а в самой его голове… Разбитость и головной туман овладевали его телом все больше и больше, так что, подождав немного и чувствуя, что его тошнит от стука мраморной ступки, он, чтоб подбодрить себя, решил заговорить с провизором…

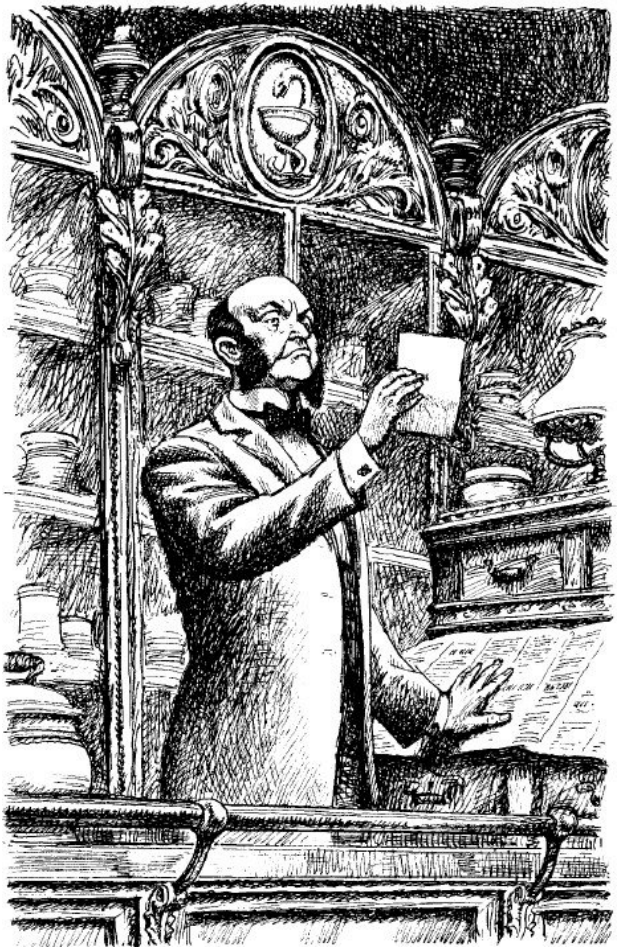
— Должно быть, у меня горячка начинается, — сказал он. — Доктор сказал, что еще трудно решить, какая у меня болезнь, но уж больно я ослаб… Еще счастье мое, что я в столице заболел,

---

[11] Примечания: 11

Флёр — тонкая прозрачная ткань.

а не дай бог этакую напасть в деревне, где нет докторов и аптек!



Провизор стоял неподвижно и, закинув назад голову, читал. На обращение к нему Свойкина он не ответил ни словом, ни движением, словно не слышал… Кассир громко зевнул и чиркнул о панталоны спичкой… Стук мраморной ступки становился все громче и звонче. Видя, что его не слушают, Свойкин поднял глаза на полки с банками и принялся читать надписи… Перед ним замелькали сначала всевозможные «радиксы»: генциана, пимпинелла, торментилла, зедоариа и проч. За радиксами замелькали тинктуры, oleum'ы, semen'ы, с названиями одно другого мудренее и допотопнее.

«Сколько, должно быть, здесь ненужного балласта! — подумал Свойкин. — Сколько рутины в этих банках, стоящих тут только по традиции, и в то же время как все это солидно и внушительно!»

С полок Свойкин перевел глаза на стоявшую около него стеклянную этажерку. Тут увидел он резиновые кружочки, шарики, спринцовки, баночки с зубной пастой, капли Пьерро, капли Адельгейма, косметические мыла, мазь для ращения волос…

В аптеку вошел мальчик в грязном фартуке и попросил на 10 коп. бычачьей желчи.

— Скажите, пожалуйста, для чего употребляется бычачья желчь? — обратился учитель к провизору, обрадовавшись теме для разговора.

Не получив ответа на свой вопрос, Свойкин принялся рассматривать строгую, надменно-ученую физиономию провизора.

«Странные люди, ей-богу! — подумал он. — Чего ради они напускают на свои лица ученый колер? Дерут с ближнего втридорога, продают мази для ращения волос, а глядя на их лица, можно подумать, что они и в самом деле жрецы науки. Пишут по-латыни, говорят по-немецки… Средневековое из себя что-то корчат… В здоровом состоянии не замечаешь этих сухих, черствых физиономий, а вот как заболеешь, как я теперь, то и ужаснешься, что святое дело попало в руки этой бесчувственной утюжной фигуры…»

Рассматривая неподвижную физиономию провизора, Свойкин вдруг почувствовал желание лечь во что бы то ни стало подальше от света, ученой физиономии и стука мраморной ступки… Болезненное утомление овладело всем его существом… Он подошел к прилавку и, состроив умоляющую гримасу, попросил:

— Будьте так любезны, отпустите меня! Я… я болен…

— Сейчас… Пожалуйста, не облокачивайтесь!

Учитель сел на диван и, гоняя из головы туманные образы, стал смотреть, как курит кассир.

«Полчаса еще только прошло, — подумал он. — Еще осталось столько же… Невыносимо!»

Но вот наконец к провизору подошел маленький черненький фармацевт и положил около него коробку с порошками и склянку с розовой жидкостью… Провизор дочитал до точки, медленно отошел от конторки и, взяв склянку в руки, поболтал ее перед глазами… Засим он написал сигнатуру, привязал ее к горлышку склянки и потянулся за печаткой…

«Ну к чему эти церемонии? — подумал Свойкин. — Трата времени, да и деньги лишние за это возьмут».

Завернув, связав и запечатав микстуру, провизор стал проделывать то же самое и с порошками.

— Получите! — проговорил он наконец, не глядя на Свойкина. — Взнесите в кассу рубль шесть копеек!

Свойкин полез в карман за деньгами, достал рубль и тут же вспомнил, что у него, кроме этого рубля, нет больше ни копейки…

— Рубль шесть копеек? — забормотал он, кон-

фузясь. — А у меня только всего один рубль… Думал, что рубля хватит… Как же быть-то?

— Не знаю! — отчеканил провизор, принимаясь за газету.

— В таком случае уж вы извините… Шесть копеек я вам завтра занесу или пришлю…

— Этого нельзя… У нас кредита нет…

— Как же мне быть-то?

— Сходите домой, принесите шесть копеек, тогда и лекарства получите.

— Пожалуй, но… мне тяжело ходить, а прислать некого…

— Не знаю… Не мое дело…

— Гм… — задумался учитель. — Хорошо, я схожу домой…

Свойкин вышел из аптеки и отправился к себе домой… Пока он добрался до своего номера, то садился отдыхать раз пять… Придя к себе и найдя в столе несколько медных монет, он присел на кровать отдохнуть… Какая-то сила потянула его голову к подушке… Он прилег, как бы на минутку… Туманные образы в виде облаков и закутанных фигур стали заволакивать сознание… Долго он помнил, что ему нужно идти в аптеку, долго заставлял себя встать, но болезнь взяла свое. Медяки высыпались из кулака, и больному

стало сниться, что он уже пошел в аптеку и вновь беседует там с провизором.

На мельнице

Мельник Алексей Бирюков, здоровенный коренастый мужчина средних лет, фигурой и лицом похожий на тех топорных, толстокожих и тяжело ступающих матросов, которые снятся детям после чтения Жюля Верна, сидел у порога своей хижины и лениво сосал потухшую трубку. На этот раз он был в серых штанах из грубого солдатского сукна, в больших тяжелых сапогах, но без сюртука и без шапки, хотя на дворе стояла настоящая осень, сырая и холодная. Сквозь расстегнутую жилетку свободно проникала сырая мгла, но большое черствое, как мозоль, тело мельника, по-видимому, не ощущало холода. Красное мясистое лицо его, по обыкновению, было апатично и дрябло, точно спросонок, маленькие заплывшие глазки угрюмо, исподлобья глядели по сторонам то на плотину, то на два сарая с навесами, то на старые неуклюжие ветлы.

Около сараев суетились два только что приехавших монастырских монаха: один — Клиопа, высокий и седой старик в обрызганной грязью рясе и в латаной скуфейке, другой Диодор, чернобородый и смуглый, по-видимому грузин родом,

в обыкновенном мужицком тулупе. Они снимали с телег мешки с рожью, привезенной ими для помола. Несколько поодаль от них на темной грязной траве сидел работник Евсей, молодой безусый парень в рваном кургузом тулупе и совершенно пьяный. Он мял в руках рыболовную сеть и делал вид, что починяет ее.

Мельник долго водил глазами и молчал, потом уставился на монахов, таскавших мешки, и проговорил густым басом:

— Вы, монахи, зачем это в реке рыбу ловите? Кто вам дозволил?

Монахи ничего не ответили и даже не взглянули на мельника.

Тот помолчал, закурил трубку и продолжал:

— Сами ловите да еще посадским мещанам дозволяете. Я в посаде и у вас реку на откуп взял, деньги вам плачу, стало быть, рыба моя и никто не имеет полного права ловить ее. Богу молитесь, а воровать за грех не считаете.

Мельник зевнул, помолчал и продолжал ворчать:

— Ишь ты, какую моду взяли! Думают, что, как монахи, в святые записались, так на них и управы нет. Возьму вот и подам мировому. Мировой не поглядит на твою рясу, насидишься ты у него

в холодной. А то и сам, без мирового справлюсь. Попаду на реке и так шею накостыляю, что до Страшного суда рыбы не захочешь!

— Напрасно вы такие слова говорите, Алексей Дорофеич! — проговорил Клиопа тихим тенорком. — Добрые люди, которые Бога боятся, таких слов собаке не говорят, а ведь мы монахи!

— «Монахи»! — передразнил мельник. — Тебе понадобилась рыба? Да? Так ты купи у меня, а не воруй!

— Господи, да нешто мы воруем? — поморщился

Клиопа. — Зачем такие слова? Наши послушники ловили рыбу, это точно, но ведь на это они от отца архимандрита дозволение имели. Отец архимандрит так рассуждают, что деньги взяты с вас не за всю реку, а только за то, чтоб вы на нашем берегу имели право сети ставить. Река не вся вам дадена… Она не ваша и не наша, а Божья…

— И архимандрит такой же, как ты, — проворчал мельник, стуча трубкой по сапогу. — Любит обшить, тоже! А я разбирать не стану. Для меня архимандрит все равно что ты или вот Евсей. Попаду его на реке, так и ему влетит…

— А что вы собираетесь бить монахов, так это как вам угодно. Для нас же на том свете лучше

будет. Вы уж били Виссариона и Антипия, так бейте и других.

— Замолчи, не трогай его! — проговорил Диодор, дергая Клиопу за рукав.



Клиопа спохватился, умолк и стал таскать мешки, мельник же продолжал браниться. Ворчал он лениво, посасывая после каждой фразы трубку и сплевывая. Когда иссяк рыбный вопрос, он

вспомнил о каких-то его собственных двух мешках, которые якобы «зажулили» когда-то монахи, и стал браниться из-за мешков, потом, заметив, что Евсей пьян и не работает, он оставил в покое монахов и набросился на работника, оглашая воздух отборною, отвратительною руганью.

Монахи сначала крепились и только громко вздыхал и, но скоро Клиопа не вынес… Он всплеснул руками и произнес плачущим голосом:

— Владыка святый, нет для меня тягостнее послушания, как на мельницу ездить! Сущий ад! Ад, истинно ад!

— А ты не езди! — огрызнулся мельник.

— Царица Небесная, рады бы сюда не ездить, да где же нам другую мельницу взять? Сам посуди, кроме тебя, тут в окружности ни одной мельницы нет! Просто хоть с голоду помирай или немолотое зерно кушай!

Мельник не унимался и продолжал сыпать во все стороны ругань. Видно было, что ворчанье и ругань составляли для него такую же привычку, как сосанье трубки.

— Хоть ты нечистого не поминай! — умолял Клиопа, оторопело мигая глазами. — Ну помолчи, сделай милость!



Скоро мельник умолк, но не потому, что его умолял Клиопа. На плотине показалась какая-то старуха, маленькая, кругленькая, с добродушным лицом, в каком-то странном полосатом салопике, похожем на спинку жука. Она несла небольшой узелок и подпиралась маленькой палочкой…

— Здравствуйте, батюшки! — зашепелявила

она, низко кланяясь монахам. —

Помогай Бог! Здравствуй,

Алешенька! Здравствуй,

Евсеюшка!..

— Здравствуйте, маменька, — пробормотал мельник, не глядя на старуху и хмурясь.

— А я к тебе в гости, батюшка мой! — сказала она, улыбаясь и нежно заглядывая в лицо мельника. — Давно не видала. Почитай, с самого Успеньева дня не видались... Рад не рад, а уж принимай! А ты словно похудел будто...

Старушонка уселась рядом с мельником, и около этого громадного человека ее салопик еще более стал походить на жука.

— Да, с Успеньева дня! — продолжала она. — Соскучилась, вся душа по тебе выболела, сыночек, а как соберусь к тебе, то или дождь пойдет, или заболею...

— Сейчас вы из посада? — угрюмо спросил мельник.

— Из посада... Прямо из дому...

— При ваших болезнях и при такой комплекции вам дома сидеть нужно, а не по гостям ходить. Ну зачем вы пришли? Башмаков не жалко!

— Поглядеть на тебя пришла... Их у меня, сынов-то, двое, — обратилась она к монахам, — этот

да еще Василий, что в посаде. Двоечко. Им-то все равно, жива я или померла, а ведь они-то у меня родные, утешение… Они без меня могут, а я без них, кажется, и дня бы не прожила… Только вот, батюшки, стара стала, ходить к нему из посада тяжело.

Наступило молчание. Монахи снесли в сарай последний мешок и сели на телегу отдыхать… Пьяный Евсей все еще мял в руках сеть и клевал носом.

— Не вовремя пришли, маменька, — сказал мельник. — Сейчас мне в Каряжино ехать нужно.

— Езжай! С Богом! — вздохнула старуха. — Не бросать же из-за меня дело… Я отдохну часик и пойду назад… Тебе, Алешенька, кланяется Вася с детками…

— Все еще водку трескает?

— Не то чтобы уж очень, а пьет. Нечего греха таить, пьет… Много-то пить, сам знаешь, не на что, так вот разве иной раз добрые люди поднесут…

Плохое его житье, Алешенька! Намучилась я, на него глядючи… Есть нечего, детки оборванные, сам он — на улицу стыдно глаза показать, все штаны в дырах и сапогов нет… Все мы вшестером в одной комнате спим. Такая бедность, такая

бедность, что горчее и придумать нельзя… С тем к тебе и шла, чтоб на бедность попросить… Ты, Алешенька, уж уважь старуху, помоги Василию… Брат ведь!

Мельник молчал и глядел в сторону.

— Он бедный, а ты — слава тебе, Господи! И мельница у тебя своя, и огороды держишь, и рыбой торгуешь… Тебя Господь и умудрил, и возвеличил супротив всех, и насытил… И одинокий ты… А у Васи четверо детей, я на его шее живу, окаянная, а жалованья-то всего он семь рублей получает. Где ж ему прокормить всех? Ты помоги…

Мельник молчал и старательно набивал свою трубку.

— Дашь? — спросила старуха.

Мельник молчал, точно воды в рот набрал. Не дождавшись ответа, старуха вздохнула, обвела глазами монахов, Евсея, встала и сказала:

— Ну Бог с тобой, не давай. Я и знала, что не дашь… Пришла я к тебе больше из-за Назара Андреича… Плачет уж очень, Алешенька! Руки мне целовал и все просил меня, чтоб я сходила к тебе и упросила…

— Чего ему?

— Просит, чтоб ты ему долг отдал. Отвез, го-

ворит, я ему рожь для помолу, а он назад и не отдал.

— Не ваше дело, маменька, в чужие дела мешаться, — проворчал мельник. — Ваше дело Богу молиться.

— Я и молюсь, да уж что-то Бог моих молитв не слушает. Василий — нищий, сама я побираюсь и в чужом салопе хожу, ты хорошо живешь, но Бог тебя знает, какая душа у тебя. Ох, Алешенька, испортили тебя глаза завистливые! Всем ты у меня хорош: и умен, и красавец, и из купцов купец, но не похож ты на настоящего человека! Неприветливый, никогда не улыбнешься, доброго слова не скажешь, немилостивый, словно зверь какой… Ишь какое лицо! А что народ про тебя рассказывает, горе ты мое! Спроси-ка вот батюшек! Врут, будто ты народ сосешь, насильничаешь, со своими разбойниками работниками по ночам прохожих грабишь да коней воруешь… Твоя мельница словно место какое проклятое… Девки и ребята близко подходить боятся, всякая тварь тебя сторонится. Нет тебе другого прозвания, окромя как Каин и Ирод…

— Глупые вы, маменька!

— Куда ни ступишь — трава не растет, куда ни дыхнешь — муха не летает. Только и слышу я:

«Ах, хоть бы его скорей кто убил или засудили!» Каково-то матери слышать все это? Каково? Ведь ты мне родное дитя, кровь моя…

— Одначе мне ехать пора, — проговорил мельник, поднимаясь. — Прощайте, маменька!

Мельник выкатил из сарая дроги, вывел лошадь и, втолкнув ее, как собачонку, между оглобель, начал запрягать. Старуха ходила возле него, заглядывала ему в лицо и слезливо моргала.

— Ну, прощай! — сказала она, когда сын ее стал быстро натягивать на себя кафтан. — Оставайся тут с Богом, да не забывай нас. Постой, я тебе гостинца дам… — забормотала она, понизив голос и развязывая узел. — Вчерась была у дьяконицы и там угощали… так вот я для тебя спрятала…

И старуха протянула к сыну руку с небольшим мятным пряником…

— Отстаньте вы! — крикнул мельник и отстранил ее руку.

Старуха сконфузилась, уронила пряник и тихо поплелась к плотине… Сцена эта произвела тяжелое впечатление. Не говоря уж о монахах, которые вскрикнули и в ужасе развели руками, даже пьяный Евсей окаменел и испуганно уставился на своего хозяина. Понял ли мельник выражение лиц монахов и работника, или,

быть может, в груди его шевельнулось давно уже уснувшее чувство, но только и на его лице мелькнуло что-то вроде испуга…

— Маменька! — крикнул он.

Старуха вздрогнула и оглянулась. Мельник торопливо полез в карман и достал оттуда большой кожаный кошелек…

— Вот вам… — пробормотал он, вытаскивая из кошелька комок, состоявший из бумажек и серебра. — Берите!

Он покрутил в руке этот комок, помял, для чего-то оглянулся на монахов, потом опять помял. Бумажки и серебряные деньги, скользя меж пальцев, друг за дружкой попадали обратно в кошелек, и в руке остался один только двугривенный… Мельник оглядел его, потер между пальцами и, крякнув, побагровев, подал его матери.

Переполох

Машенька Павлецкая, молоденькая, едва только кончившая курс институтка, вернувшись с прогулки в дом Кушкиных, где она жила в гувернантках, застала необыкновенный переполох. Отворявший ей швейцар Михайло был взволнован и красен как рак.

Сверху доносился шум.

«Вероятно, с хозяйкой припадок… — подумала Машенька, — или с мужем поссорилась…»

В передней и в коридоре встретила она горничных. Одна горничная плакала. Затем Машенька видела, как из дверей ее комнаты выбежал сам хозяин Николай Сергеич, маленький, еще не старый человек с обрюзгшим лицом и с большой плешью. Он был красен. Его передергивало… Не замечая гувернантки, он прошел мимо нее и, поднимая вверх руки, воскликнул:

— О, как это ужасно! Как бестактно! Как глупо, дико! Мерзко!

Машенька вошла в свою комнату, и тут ей в первый раз в жизни пришлось испытать во всей остроте чувство, которое так знакомо людям зависимым, безответным, живущим на хлебах у

богатых и знатных. В ее комнате делали обыск. Хозяйка Федосья Васильевна, полная плечистая дама с густыми черными бровями, простоволосая и угловатая, с едва заметными усиками и с красными руками, лицом и манерами похожая на простую бабу-кухарку, стояла у ее стола и вкладывала обратно в рабочую сумку клубки шерсти, лоскутки, бумажки… Очевидно, появление гувернантки было для нее неожиданно, так как, оглянувшись и увидев ее бледное удивленное лицо, она слегка смутилась и пробормотала:

— Pardon[12], я… я нечаянно рассыпала… зацепила рукавом…

И, сказав еще что-то, мадам Пушкина зашуршала шлейфом и вышла. Машенька обвела удивленными глазами свою комнату и, ничего не понимая, не зная, что думать, пожала плечами, похолодела от страха… Что Федосья Васильевна искала в ее сумке? Если действительно, как она говорит, она нечаянно зацепила рукавом и рассыпала, то зачем же выскочил из комнаты такой красный и взволнованный Николай Сергеич? Зачем у стола слегка выдвинут один ящик? Копилка, в которую гувернантка прятала

---

[12] Примечания: 12
Извините *(фр.)*.

гривенники и старые марки, была отперта. Ее отперли, но запереть не сумели, хотя и исцарапали весь замок. Этажерка с книгами, поверхность стола, постель — все носило на себе свежие следы обыска. И в корзине с бельем тоже. Белье было сложено аккуратно, но не в том порядке, в каком оставила его Машенька, уходя из дому. Обыск, значит, был настоящий, самый настоящий, но к чему он, зачем?

Что случилось? Машенька вспомнила волнение швейцара, переполох, который все еще продолжался, заплаканную горничную; не имело ли все это связи с только что бывшим у нее обыском? Не замешана ли она в каком-нибудь страшном деле? Машенька побледнела и вся холодная опустилась на корзину с бельем.

В комнату вошла горничная.

— Лиза, вы не знаете, зачем это меня… обыскивали? — спросила у нее гувернантка.

— У барыни пропала брошка в две тысячи… — сказала Лиза.

— Да, но зачем же меня обыскивать?



— Всех, барышня, обыскивали. И меня всю обыскали... Нас раздевали всех догола и обыскивали... А я, барышня, вот как перед Богом... Не то чтоб ихнюю брошку, но даже к туалету близко не подходила. Я и в полиции то же скажу.

— Но... зачем же меня обыскивать? — продол-

жала недоумевать гувернантка.

— Брошку, говорю, украли… Барыня сама своими руками все обшарила. Даже швейцара Михайлу сами обыскивали.

Чистый срам! Николай Сергеич только глядит да кудахчет, как курица.

А вы, барышня, напрасно это дрожите. У вас ничего не нашли! Ежели не вы брошку взяли, так вам и бояться нечего.

— Но ведь это, Лиза, низко… оскорбительно! — сказала Машенька, задыхаясь от негодования. — Ведь это подлость, низость! Какое она имела право подозревать меня и рыться в моих вещах?

— В чужих людях живете, барышня, — вздохнула Лиза. — Хоть вы и барышня, а все же… как бы прислуга… Это не то что у папаши с мамашей жить…

Машенька повалилась в постель и горько зарыдала. Никогда еще над нею не совершали такого насилия, никогда еще ее так глубоко не оскорбляли, как теперь… Ее, благовоспитанную, чувствительную девицу, дочь учителя, заподозрили в воровстве, обыскали, как уличную женщину! Выше такого оскорбления, кажется, и придумать нельзя. И к этому чувству обиды присоединился еще тяжелый страх: что теперь

будет?! В голову ее полезли всякие несообразности. Если ее могли заподозрить в воровстве, то, значит, могут теперь арестовать, раздеть догола и обыскать, потом вести под конвоем по улице, засадить в темную холодную камеру с мышами и мокрицами, точь-в-точь в такую, в какой сидела княжна Тараканова. Кто вступится за нее? Родители ее живут далеко в провинции; чтобы приехать к ней, у них нет денег. В столице она одна, как в пустынном поле, без родных и знакомых. Что хотят, то и могут с ней сделать.

«Побегу ко всем судьям и защитникам… — думала Машенька, дрожа. — Я объясню им, присягну… Они поверят, что я не могу быть воровкой!»

Машенька вспомнила, что у нее в корзине под простынями лежат сладости, которые она, по старой институтской привычке, прятала за обедом в карман и уносила к себе в комнату. От мысли, что эта ее маленькая тайна уже известна хозяевам, ее бросило в жар, стало стыдно, и от всего этого — от страха, стыда, от обиды — началось сильное сердцебиение, которое отдавало в виски, в руки, глубоко в живот.

— Пожалуйте кушать! — позвали Машеньку.

«Идти или нет?»

Машенька поправила прическу, утерлась мок-

рым полотенцем и пошла в столовую. Там уже начали обедать… За одним концом стола сидела Федосья Васильевна, важная, с тупым серьезным лицом, за другим — Николай Сергеич. По сторонам сидели гости и дети. Обедать подавали два лакея во фраках и белых перчатках. Все знали, что в доме переполох, что хозяйка в горе, и молчали. Слышны были только жеванье и стук ложек о тарелки.

Разговор начала сама хозяйка.

— Что у нас к третьему блюду? — спросила она у лакея томным страдальческим голосом.

— Эстуржон а-ля рюсс! — ответил лакей.

— Это, Феня, я заказал… — поторопился сказать Николай Сергеич. — Рыбы захотелось. Если тебе не нравится, ma chère[13], то пусть не подают. Я ведь это так… между прочим…

Федосья Васильевна не любила кушаний, которые заказывала не она сама, и теперь глаза у нее наполнились слезами.

— Ну, перестанем волноваться, — сказал сладким голосом Мамиков, ее домашний доктор, слегка касаясь ее руки и улыбаясь так же сладко. — Мы и без того достаточно нервны. Забудем

---

[13] Примечания: 13
Моя дорогая *(фр.)*.

о броши! Здоровье дороже двух тысяч!

— Мне не жалко двух тысяч! — ответила хозяйка, и крупная слеза потекла по ее щеке. — Меня возмущает самый факт! Я не потерплю в своем доме воров. Мне не жаль, мне ничего не жаль, но красть у меня — это такая неблагодарность! Так платят мне за мою доброту…

Все глядели в свои тарелки, но Машеньке показалось, что после слов хозяйки на нее все взглянули. Комок вдруг подступил к горлу, она заплакала и прижала платок к лицу.

— Pardon, — пробормотала она. — Я не могу. Голова болит. Уйду.

И она встала из-за стола, неловко гремя стулом и еще больше смущаясь, и быстро вышла.

— Бог знает что! — проговорил Николай Сергеич, морщась. — Нужно было делать у нее обыск! Как это, право… некстати.

— Я не говорю, что она взяла брошку, — сказала Федосья Васильевна, — но разве ты можешь поручиться за нее? Я, признаюсь, плохо верю этим ученым беднячкам.

— Право, Феня, некстати… Извини, Феня, но по закону ты не имеешь никакого права делать обыски.

— Я не знаю ваших законов. Я только знаю, что

у меня пропала брошка, вот и все. И я найду эту брошку! — Она ударила по тарелке вилкой, и глаза у нее гневно сверкнули. — А вы ешьте и не вмешивайтесь в мои дела!

Николай Сергеич кротко опустил глаза и вздохнул. Машенька между тем, придя к себе в комнату, повалилась в постель. Ей уже не было ни страшно, ни стыдно, а мучило ее сильное желание пойти и отхлопать по щекам эту черствую, эту надменную, тупую, счастливую женщину.

Лежа, она дышала в подушку и мечтала о том, как бы хорошо было пойти теперь купить самую дорогую брошь и бросить ею в лицо этой самодурке. Если бы Бог дал, Федосья Васильевна разорилась, пошла бы по миру и поняла бы весь ужас нищеты и подневольного состояния и если бы оскорбленная Машенька подала ей милостыню! О, если бы получить большое наследство, купить коляску и прокатить с шумом мимо ее окон, чтобы она позавидовала!

Но все это мечты, в действительности же оставалось только одно — поскорее уйти, не оставаться здесь ни одного часа. Правда, страшно потерять место, опять ехать к родителям, у которых ничего

нет, но что же делать? Машенька не могла

видеть уже ни хозяйки, ни своей маленькой комнаты, ей было здесь душно, жутко. Федосья Васильевна, помешанная на болезнях и на своем мнимом аристократизме, опротивела ей до того, что кажется, все на свете стало грубо и неприглядно оттого, что живет эта женщина. Машенька прыгнула с кровати и стала укладываться.

— Можно войти? — спросил за дверью Николай Сергеич; он подошел к двери неслышно и говорил тихим, мягким голосом. — Можно?

— Войдите.



Он вошел и остановился у двери. Глаза его глядели тускло, и красный носик его лоснился.

После обеда он пил пиво, и это было заметно по его походке, по слабым, вялым рукам.

— Это что же? — спросил он, указывая на корзину.

— Укладываюсь. Простите, Николай Сергеич, но я не могу долее оставаться в вашем доме. Меня глубоко оскорбил этот обыск!

— Я понимаю… Только вы это напрасно… Зачем?

Обыскали, а вы того… что вам от этого? Вас не убудет от этого.

Машенька молчала и продолжала укладываться. Николай Сергеич пощипал свои усы, как бы придумывая, что сказать еще, и продолжал заискивающим голосом:

— Я, конечно, понимаю, но надо быть снисходительной. Знаете, моя жена нервная, взбалмошная, нельзя судить строго…

Машенька молчала.

— Если уж вы так оскорблены, — продолжал Николай Сергеич, — то извольте, я готов извиниться перед вами. Извините.

Машенька ничего не ответила, а только ниже нагнулась к своему чемодану. Этот испитой, нерешительный человек ровно ничего не значил в доме. Он играл жалкую роль приживала и лиш-

него человека даже у прислуги; и извинение его тоже ничего не значило.

— Гм… Молчите? Вам мало этого? В таком случае я за жену извиняюсь. От имени жены… Она поступила нетактично, я признаю, как дворянин…

Николай Сергеич прошелся, вздохнул и продолжал:

— Вам надо еще, значит, чтоб у меня ковыряло вот тут, под сердцем… Вам надо, чтобы меня совесть мучила…

— Я знаю, Николай Сергеич, вы не виноваты, — сказала Машенька, глядя ему прямо в лицо своими большими заплаканными глазами. — Зачем же вам мучиться?

— Конечно… Но вы все-таки того… не уезжайте… Прошу вас.

Машенька отрицательно покачала головой. Николай Сергеич остановился у окна и забарабанил по стеклу.

— Для меня подобные недоразумения — это чистая пытка, — проговорил он. — Что же мне, на колени перед вами становиться, что ли? Вашу гордость оскорбили, и вот вы плакали, собираетесь уехать, но ведь и у меня тоже есть гордость, а вы ее не щадите. Или хотите, чтоб я сказал вам

то, чего и на исповеди не скажу? Хотите? Послушайте, вы хотите, чтобы я признался в том, в чем даже перед смертью на духу не признаюсь?

Машенька молчала.

— Я взял у жены брошку! — быстро сказал Николай Сергеич. — Довольны теперь? Удовлетворены? Да, я… взял… Только, конечно, я надеюсь на вашу скромность… Ради Бога, никому ни слова, ни полнамека!

Машенька, удивленная и испуганная, продолжала укладываться; она хватала свои вещи, мяла их и беспорядочно совала в чемодан и корзину. Теперь, после откровенного признания, сделанного Николаем Сергеичем, она не могла оставаться ни одной минуты и уже не понимала, как она могла жить раньше в этом доме.

— И удивляться нечего… — продолжал Николай Сергеич, помолчав немного. — Обыкновенная история! Мне деньги нужны, а она… не дает. Ведь этот дом и все это мой отец наживал, Марья Андреевна! Все ведь это мое, и брошка принадлежала моей матери, и… все мое! А она забрала, завладела всем… Не судиться же мне с ней, согласитесь… Прошу вас, убедительно, извините и…

и останьтесь. Tout comprendre, tout pardonner[14]. Остаетесь?

— Нет! — сказала Машенька решительно, начиная дрожать. — Оставьте меня, умоляю вас!

— Ну, Бог с вами, — вздохнул Николай Сергеич, садясь на скамеечку около чемодана. — Я, признаться, люблю тех, кто еще умеет оскорбляться, презирать и прочее. Век бы сидел и на ваше негодующее лицо глядел… Так, стало быть, не остаетесь? Я понимаю… Иначе и быть не может… Да, конечно… Вам-то хорошо, а вот мне так — тпррр!.. Ни на шаг из этого погреба. Поехать бы в какое-нибудь наше имение, да там везде сидят эти женины прохвосты… управляющие, агрономы, черт бы их взял. Закладывают, перезакладывают… Рыбы не ловить, травы не топтать, деревьев не ломать.

— Николай Сергеич! — послышался из залы голос Федосьи Васильевны. — Агния, позови барина!

— Так не остаетесь? — спросил Николай Сергеич, быстро поднимаясь и идя к двери. — А то бы остались, ей-богу. Вечерком я заходил бы к вам… толковали бы. А? Останьтесь! Уйдете вы — и во

---

[14] Примечания: 14
Все понять, все простить *(фр.)*.

всем доме не останется ни одного человеческого лица. Ведь это ужасно!

Бледное, испитое лицо Николая Сергеича умоляло, но Машенька отрицательно покачала головой, и он, махнув рукой, вышел.

Через полчаса она была уже в дороге.

Тоска

Кому повем печаль мою?..[15]

Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег… Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда, в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать…

Иона и его лошаденка не двигаются с места

---

[15] Примечания: 15

Первая строчка духовного стиха: «Кому повем печаль мою, кого призову к рыданию…» (пове́м — поведаю).

уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина все нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее.

— Извозчик, на Выборгскую! — слышит Иона. — Извозчик!

Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном.

— На Выборгскую! — повторяет военный. — Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!

В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега… Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места…

— Куда прешь, леший! — на первых же порах слышит Иона возгласы из темной, движущейся взад и вперед массы. — Куда черти несут? Пр-рава держи!

— Ты ездить не умеешь! Права держи! — сердится военный.

Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебегавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь.

— Какие все подлецы! — острит военный. — Так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились.

Иона оглядывается на седока и шевелит губами… Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипенья.

— Что? — спрашивает военный.

Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит:

— А у меня, барин, того… сын на этой неделе помер.

— Гм!.. Отчего же он умер?

Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит:

— А кто ж его знает! Должно, от горячки… Три дня полежал в больнице и помер… Божья воля.

— Сворачивай, дьявол! — раздается в потемках. — Повылазило, что ли, старый пес? Гляди глазами!

— Поезжай, поезжай… — говорит седок. — Этак

мы и до завтра не доедем. Подгони-ка!

Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять не шевельнется… Мокрый снег опять красит набело его и лошаденку. Проходит час, другой…

По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей: двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат.

— Извозчик, к Полицейскому мосту! — кричит дребезжащим голосом горбач. — Троих… двугривенный!

Иона дергает вожжами и чмокает. Двугривенный цена не сходная, но ему не до цены… Что рубль, что пятак — для него теперь все равно, были бы только седоки… Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням и все трое сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса: кому двум сидеть, а кому третьему стоять? После долгой перебранки, капризничанья и попреков приходят к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький.

— Ну, погоняй! — дребезжит горбач, устанавливаясь и дыша в затылок Ионы. — Лупи! Да и шапка же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти…



— Гы-ы… гы-ы… — хохочет Иона. — Какая есть…

— Ну ты, какая есть, погоняй! Этак ты всю дорогу будешь ехать? Да? А по шее?..

— Голова трещит… — говорит один из длинных. — Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой четыре бутылки коньяку выпили.

— Не понимаю, зачем врать! — сердится другой длинный. — Врет как скотина.

— Накажи меня Бог, правда…

— Это такая же правда, как то, что вошь кашляет.

— Гы-ы! — ухмыляется Иона. — Ве-еселые господа!

— Тьфу, чтоб тебя черти!.. — возмущается горбач. — Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят? Хлобыстни-ка ее кнутом! Но, черт! Но! Хорошенько ее!

Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит людей, и чувство одиночества начинает мало-помалу отлегать от груди. Горбач бранится до тех пор, пока не давится вычурным, шестиэтажным ругательством и не разражается кашлем. Длинные начинают говорить о какой-то Надежде Петровне. Иона

оглядывается на них. Дождавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет:

— А у меня на этой неделе… того… сын помер!

— Все помрем… — вздыхает горбач, вытирая после кашля губы. — Ну, погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу дальше так ехать! Когда он нас довезет?

— А ты его легонечко подбодри… в шею!

— Старая холера, слышишь? Ведь шею накостыляю!.. С вашим братом церемониться — так пешком ходить!.. Ты слышишь, Змей Горыныч? Или тебе плевать на наши слова?

И Иона больше слышит, чем чувствует, звуки подзатыльника.

— Гы-ы… — смеется он. — Веселые господа… дай Бог здоровья!

— Извозчик, ты женат? — спрашивает длинный.

— Я-то? Гы-ы… ве-еселые господа! Таперя у меня одна жена — сырая земля… Хи-хо-хо… Могила то есть!.. Сын-то вот помер, а я жив… Чудное дело, смерть дверью обозналась… Заместо того чтоб ко мне идтить, она к сыну…

И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава Богу, они наконец приехали.

Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина… Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы, — не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски… Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но тем не менее ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем…

Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним.

— Милый, который теперь час будет? — спрашивает он.

— Десятый… Чего же стал здесь? Проезжай!

Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске… Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает вожжи… Ему невмоготу. «Ко двору, — думает

он. — Ко двору!» И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцой. Спустя часа полтора Иона сидит уже около большой грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе «спираль» и духота… Иона глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой…

«И на овес не выездил, — думает он. — Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело… который и сам сыт, и лошадь сыта, завсегда покоен…»

В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крякает и тянется к ведру с водой.

— Пить захотел? — спрашивает Иона.

— Стало быть, пить!

— Так… На здоровье… А у меня, брат, сын помер… Слыхал? На этой неделе в больнице… История!

Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется… Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем… Нужно поговорить с толком, с расстановкой… Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед

смертью, как умер… Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисья… И про нее нужно поговорить… Да мало ли о чем он может теперь поговорить? Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать… А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов.

«Пойти лошадь поглядеть, — думает Иона. — Спать всегда успеешь… Небось выспишься…»

Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он об овсе, сене, о погоде… Про сына, когда один, думать он не может… Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко…

— Жуешь? — спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза. — Ну, жуй, жуй… Коли на овес не выездили, сено есть будем… Да… Стар уж стал я ездить… Сыну бы ездить, а не мне… То настоящий извозчик был… Жить бы только…

Иона молчит некоторое время и продолжает:

— Так-то, брат кобылочка… Нету Кузьмы Ионыча… Приказал долго жить… Взял и помер зря… Таперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать… И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить… Ведь жалко?

Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина…

Иона увлекается и рассказывает ей все…

Беззащитное существо

Как ни силен был ночью припадок подагры, как ни скрипели потом нервы, а Кистунов все-таки отправился утром на службу и своевременно начал приемку просителей и клиентов банка. Вид у него был томный, замученный, и говорил он еле-еле, чуть дыша, как умирающий.

— Что вам угодно? — обратился он к просительнице в допотопном салопе, очень похожей сзади на большого навозного жука.

— Изволите ли видеть, ваше превосходительство, — начала скороговоркой просительница, — муж мой, коллежский асессор Щукин, проболел пять месяцев, и пока он, извините, лежал дома и лечился, ему без всякой причины отставку дали, ваше превосходительство, а когда я пошла за его жалованьем, они, изволите видеть, вычли из его жалованья двадцать четыре рубля тридцать шесть копеек! За что? — спрашиваю. «А он, — говорят, — из товарищеской кассы брал, и за него другие чиновники ручались». Как же так? Нешто он мог без моего согласия брать? Это невозможно, ваше превосходительство. Да почему такое? Я женщина бедная, только и кормлюсь жиль-

цами… Я слабая, беззащитная… От всех обиду терплю и ни от кого доброго слова не слышу…

Просительница заморгала глазами и полезла в салоп за платком. Кистунов взял от нее прошение и стал читать.

— Позвольте, как же это? — пожал он плечами. — Я ничего не понимаю. Очевидно, вы, сударыня, не туда попали. Ваша просьба, по существу, совсем к нам не относится. Вы потрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж.

— И-и, батюшка, я в пяти местах уже была и везде даже прошения не взяли! — сказала Щукина. — Я уж и голову потеряла, да спасибо, дай Бог здоровья зятю Борису Матвеичу, надоумил к вам сходить. «Вы, — говорит, — мамаша, обратитесь к господину Кистунову: он влиятельный человек, для вас все может сделать»… Помогите, ваше превосходительство!

— Мы, госпожа Щукина, ничего не можем для вас сделать… Поймите вы: ваш муж, насколько я могу судить, служил по военно-медицинскому ведомству, а наше учреждение совершенно частное, коммерческое, у нас банк. Как не понять этого!

Кистунов еще раз пожал плечами и повернулся к господину в военной форме с флюсом.

— Ваше превосходительство, — пропела жалобным голосом Щукина, — а что муж болен был, у меня докторское свидетельство есть! Вот оно, извольте поглядеть!

— Прекрасно, я верю вам, — сказал раздраженно Кистунов, — но, повторяю, это к нам не относится. Странно и даже смешно! Неужели ваш муж не знает, куда вам обращаться?

— Он, ваше превосходительство, у меня ничего не знает. Зарядил одно: «Не твое дело! Пошла вон!» — да и все тут… А чье же дело? Ведь на моей-то шее они сидят! На мое-ей!

Кистунов опять повернулся к Щукиной и стал объяснять ей разницу между ведомством военномедицинским и частным банком. Та внимательно выслушала его, кивнула в знак согласия головой и сказала:

— Так, так, так… Понимаю, батюшка. В таком случае, ваше превосходительство, прикажите выдать мне хоть пятнадцать рублей! Я согласна не всё сразу.

— Уф! — вздохнул Кистунов, откидывая назад голову. — Вам не втолкуешь! Да поймите же, что обращаться к нам с подобной просьбой так же странно, как подавать прошение о разводе, например, в аптеку или в пробирную палатку.

Вам недоплатили, но мы-то тут при чем?

— Ваше превосходительство, заставьте вечно Бога молить, пожалейте меня, сироту! — заплакала Щукина. — Я женщина беззащитная, слабая… Замучилась до смерти… И с жильцами судись, и за мужа хлопочи, и по хозяйству бегай, а тут еще говею и зять без места… Только одна слава, что пью и ем, а сама еле на ногах стою… Всю ночь не спала.

Кистунов почувствовал сердцебиение. Сделав страдальческое лицо и прижав руку к сердцу, он опять начал объяснять Щукиной, но голос его оборвался…

— Нет, извините, я не могу с вами говорить, — сказал он и махнул рукой. — У меня даже голова закружилась. Вы и нам мешаете и время понапрасну теряете. Уф!.. Алексей Николаич, — обратился он к одному из служащих, — объясните вы, пожалуйста, госпоже Щукиной!

Кистунов, обойдя всех просителей, отправился к себе в кабинет и подписал с десяток бумаг, а Алексей Николаич все еще возился со Щукиной. Сидя у себя в кабинете, Кистунов долго слышал два голоса: монотонный, сдержанный бас Алексея Николаича и плачущий, взвизгивающий голос Щукиной…

— Я женщина беззащитная, слабая, я женщина болезненная, — говорила Щукина. — На вид, может, я крепкая, а ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою и аппетита решилась… Кофий сегодня пила, и без всякого удовольствия.

А Алексей Николаич объяснял ей разницу между ведомствами и сложную систему направления бумаг. Скоро он утомился, и его сменил бухгалтер.

— Удивительно противная баба! — возмущался Кисту нов, нервно ломая пальцы и то и дело подходя к графину с водой. — Это идиотка, пробка! Меня замучила и их заездит, подлая! Уф… сердце бьется!

Через полчаса он позвонил. Явился Алексей Николаич.

— Что у вас там? — томно спросил Кистунов.

— Да никак не втолкуем, Петр Александрыч! Просто замучились. Мы ей про Фому, а она про Ерему…

— Я… я не могу ее голоса слышать… Заболел я… не выношу…

— Позвать швейцара, Петр Александрыч, пусть ее выведет.

— Нет, нет! — испугался Кистунов. — Она визг

поднимет, а в этом доме много квартир, и про нас черт знает что могут подумать… Уж вы, голубчик, как-нибудь постарайтесь объяснить ей.

Через минуту опять послышалось гудение Алексея Николаича. Прошло четверть часа, и на смену его басу зажужжал сиплый тенорок бухгалтера.

— За-ме-чательно подлая! — возмущался Кистунов, нервно вздрагивая плечами. — Глупа, как сивый мерин, черт бы ее взял! Кажется, у меня опять подагра разыгрывается… Опять мигрень…

В соседней комнате Алексей Николаич, выбившись из сил, наконец постучал пальцем по столу, потом себе по лбу.

— Одним словом, у вас на плечах не голова, — сказал он, — а вот что…

— Ну, нечего, нечего… — обиделась старуха. — Своей жене постучи… Скважина! Не очень-то рукам волю давай.

И, глядя на нее со злобой, с остервенением, точно желая проглотить ее, Алексей Николаич сказал тихим, придушенным голосом:

— Вон отсюда!

— Что-о?! — взвизгнула вдруг Щукина. — Да как вы смеете? Я женщина слабая, беззащитная, я не позволю! Мой муж коллежский асессор!

Скважина этакая! Схожу к адвокату Дмитрию Карлычу, так от тебя звания не останется! Троих жильцов засудила, а за твои дерзкие слова ты у меня в ногах наваляешься! Я до вашего генерала пойду! Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!

— Пошла вон отсюда, язва! — прошипел Алексей Николаич.

Кистунов отворил дверь и выглянул в присутствие.

— Что такое? — спросил он плачущим голосом.

Щукина, красная как рак, стояла среди комнаты и, вращая глазами, тыкала в воздух пальцами. Служащие в банке стояли по сторонам и, тоже красные, видимо замученные, растерянно переглядывались.

— Ваше превосходительство! — бросилась к Кистунову Щукина. — Вот этот, вот самый… вот этот… (она указала на Алексея Николаича) постучал себе пальцем по лбу, а потом по столу… Вы велели ему мое дело разобрать, а он насмехается! Я женщина слабая, беззащитная… Мой муж коллежский асессор, и сама я майорская дочь!

— Хорошо, сударыня, — простонал Кистунов, — я разберу… приму меры… Уходите… после!..

— А когда же я получу, ваше превосходитель-

ство? Мне нынче деньги надобны!

Кистунов дрожащей рукой провел себе по лбу, вздохнул и опять начал объяснять:

— Сударыня, я уже вам говорил. Здесь банк, учреждение частное, коммерческое… Что же вы от нас хотите? И поймите толком, что вы нам мешаете.

Щукина выслушала его и вздохнула.

— Так, так… — согласилась она. — Только уж вы, ваше превосходительство, сделайте милость, заставьте вечно Бога молить, будьте отцом родным, защитите. Ежели медицинского свидетельства мало, то я могу и из участка удостоверение представить… Прикажите выдать мне деньги!

У Кистунова зарябило в глазах. Он выдохнул весь воздух, сколько его было в легких, и в изнеможении опустился на стул.

— Сколько вы хотите получить? — спросил он слабым голосом.

— Двадцать четыре рубля тридцать шесть копеек.

Кистунов вынул из кармана бумажник, достал оттуда четвертной билет и подал его Щукиной.

— Берите и… и уходите!

Щукина завернула в платочек деньги, спрятала и, сморщив лицо в сладкую, деликатную, даже

кокетливую улыбочку, спросила:

— Ваше превосходительство, а нельзя ли моему мужу опять поступить на место?

— Я уеду… болен… — сказал Кистунов томным голосом. — У меня страшное сердцебиение.

По отъезде его Алексей Николаич послал Никиту за лавровишневыми каплями, и все, приняв по двадцать капель, уселись за работу, а Щукина потом часа два еще сидела в передней и разговаривала со швейцаром, ожидая, когда вернется Кистунов.

Приходила она и на другой день.

Жалобная книга

Лежит она, эта книга, в специально построенной для нее конторке на станции железной дороги. Ключ от конторки «хранится у станционного жандарма», на деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте:

«Милостивый государь! Проба пера?!»

Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей написано:

«Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. Я — морда твоя».

«Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин».

«Кто писал не знаю, а я дурак читаю».

«Оставил память начальник стола претензий Коловроев».

«Приношу начальству мою жалобу на Кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась чтоб всё было тихо. А также и насчет жандарма Клятвина который меня Грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева который знает мое поведение.

Конторщик Самолучшев».

«Никандров социалист!»

«Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка… (зачеркнуто). Проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим… (зачеркнуто). На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки… (далее всё зачеркнуто, кроме подписи). Ученик 7-го класса Курской гимназии Алексей Зудьев».

«В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сем по линии. Неунывающий дачник».

«Я знаю кто это писал. Это писал М. Д.»

«Господа! Тельцовский шуллер!»

«Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку. Желаем всего лучшего. Не унывай жандарм!»

«Проезжая через станцию и будучи голоден в рассуждении чего бы покушать я не мог найти постной пищи. Дьякон Духов».

«Лопай, что дают»…

«Кто найдет кожаный портсигар тот пущай отдаст в кассу Андрею Егорычу».

«Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры. Телеграфист Козьмодемьянский».

«Добродетелью украшайтесь».

«Катинька, я вас люблю безумно!»

«Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции Иванов 7-й».

«Хоть ты и седьмой, а дурак».

Водевили

ВОДЕВИЛИ



Предложение
Шутка в одном действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Степан Степанович Чубуков, помещик.

Наталья Степановна, его дочь, 25 лет.

Иван Васильевич Ломов, сосед Чубукова, здоровый, упитанный, но очень мнительный помещик.

Действие происходит в усадьбе Чубукова.

Гостиная в доме Чубукова.

I

Чубуков и Ломов *(входит во фраке и белых перчатках).*

Чубуков *(идя к нему навстречу).* Голубушка, кого вижу! Иван Васильевич! Весьма рад! *(Пожимает руку.)* Вот именно сюрприз, мамочка… Как поживаете?

Ломов. Благодарю вас. А вы как изволите поживать?

Чубуков. Живем помаленьку, ангел мой, ваши-

ми молитвами и прочее. Садитесь, покорнейше прошу… Вот именно, нехорошо соседей забывать, мамочка моя. Голубушка, но что же вы это так официально? Во фраке, в перчатках и прочее. Разве куда едете, драгоценный мой?

Ломов. Нет, я только к вам, уважаемый Степан Степаныч.

Чубуков. Так зачем же во фраке, прелесть? Точно на Новый год с визитом!

Ломов. Видите ли, в чем дело. *(Берет его под руку.)* Я приехал к вам, уважаемый Степан Степаныч, чтобы обеспокоить вас одною просьбою. Неоднократно я уже имел честь обращаться к вам за помощью, и всегда вы, так сказать… но я, простите, волнуюсь. Я выпью воды, уважаемый Степан Степаныч. *(Пьет воду.)*

Чубуков *(в сторону).* Денег приехал просить! Не дам! *(Ему.)* В чем дело, красавец?

Ломов. Видите ли, Уважай Степаныч… виноват, Степан Уважаемый… то есть, я ужасно волнуюсь, как изволите видеть… Одним словом, вы один только можете помочь мне, хотя, конечно, я ничем не заслужил и… и не имею права рассчитывать на вашу помощь…

Чубуков. Ах, да не размазывайте, мамочка! Говорите сразу! Ну?

Ломов. Сейчас… Сию минуту. Дело в том, что я приехал просить руки у вашей дочери Натальи Степановны.

Чубуков *(радостно).* Мамуся! Иван Васильевич! Повторите еще раз — я не расслышал!

Ломов. Я имею честь просить…

Чубуков *(перебивая).* Голубушка моя… Я так рад и прочее… Вот именно и тому подобное. *(Обнимает и целует.)* Давно желал. Это было моим всегдашним желанием. *(Пускает слезу.)* И всегда я любил вас, ангел мой, как родного сына. Дай Бог вам обоим совет и любовь и прочее, а я весьма желал… Что же я стою как болван? Опешил от радости, совсем опешил! Ох, я от души… Пойду позову Наташу и тому подобное.

Ломов *(растроганный).* Уважаемый Степан

Степаныч, как вы полагаете, могу я рассчитывать на ее согласие?

Чубуков. Такой, вот именно, красавец, и… и вдруг она не согласится! Влюблена небось как кошка и прочее… Сейчас! *(Уходит.)*

II

Ломов (один).

Ломов. Холодно… Я весь дрожу, как перед экзаменом. Главное — нужно решиться. Если же долго думать, колебаться, много разговаривать да ждать идеала или настоящей любви, то этак никогда не женишься… Бр-р!.. Холодно! Наталья Степановна отличная хозяйка, недурна, образованна… Чего ж мне еще нужно? Однако у меня уж начинается от волнения шум в ушах. *(Пьет воду.)* А не жениться мне нельзя… Во-первых, мне уже 35 лет — возраст, так сказать, критический. Во-вторых, мне нужна правильная, регулярная жизнь… У меня порок сердца, постоянные сердцебиения, я вспыльчив и всегда ужасно волнуюсь… Сейчас вот у меня губы дрожат и на правом веке живчик прыгает… Но самое ужасное у меня — это сон. Едва только лягу в постель и только что начну засыпать, как вдруг в левом боку что-то — дерг! и бьет прямо в плечо и в голову… Вскакиваю как сумасшедший, похожу немного и опять ложусь, но только что начну засыпать, как у меня в боку опять — дерг! И этак раз двадцать…

III

Наталья Степановна и Ломов.

Наталья Степановна *(входит).* Ну вот, ей-богу! Это вы, а папа говорит: поди, там купец за товаром пришел. Здравствуйте, Иван Васильевич!

Ломов. Здравствуйте, уважаемая Наталья Степановна!

Наталья Степановна. Извините, я в фартуке и неглиже… Мы горошек чистим для сушки. Отчего вы у нас так долго не были? Садитесь…

Садятся.

Хотите завтракать?

Ломов. Нет, благодарю вас, я уже кушал.

Наталья Степановна. Курите… Вот спички… Погода великолепная, а вчера такой дождь был, что рабочие весь день ничего не делали. Вы сколько копен накосили? Я, представьте, сжадничала и скосила весь луг, а теперь сама не рада: боюсь, как бы мое сено не сгнило. Лучше было бы подождать. Но что это? Вы, кажется, во фраке! Вот новость! На бал едете, что ли? Между прочим, вы похорошели… Вправду, зачем вы таким франтом?

Ломов *(волнуясь).* Видите ли, уважаемая Наталья Степановна… Дело в том, что я решился просить вас выслушать меня… Конечно, вы удивитесь и даже рассердитесь, но я… *(В сторону.)* Ужасно холодно!

Наталья Степановна. В чем дело?

Пауза.

Ну?

Ломов. Я постараюсь быть краток. Вам, уважаемая Наталья Степановна, известно, что я давно уже, с самого детства, имею честь знать ваше семейство. Моя покойная тетушка и ее супруг, от которых я, как вы изволите знать, получил в наследство землю, всегда относились с глубоким уважением к вашему батюшке и к покойной матушке. Род Ломовых и род Чубуковых всегда находились в самых дружественных и, можно даже сказать, родственных отношениях. К тому же, как вы изволите знать, моя земля тесно соприкасается с вашею. Если вы изволите припомнить, мои Воловьи Лужки граничат с вашим березняком.

Наталья Степановна. Виновата, я вас перебью. Вы говорите «мои Воловьи Лужки»... Да разве они ваши?

Ломов. Мои-с...

Наталья Степановна. Ну вот еще! Воловьи Лужки наши, а не ваши!

Ломов. Нет-с, мои, уважаемая Наталья Степановна.

Наталья Степановна. Это для меня новость. Откуда же они ваши?

Ломов. Как откуда? Я говорю про те Воловьи Лужки, что входят клином между вашим березняком и Горелым болотом.

Наталья Степановна. Ну да, да… Они наши…

Ломов. Нет, вы ошибаетесь, уважаемая Наталья Степановна, — они мои.

Наталья Степановна. Опомнитесь, Иван Васильевич! Давно ли они стали вашими?

Ломов. Как — давно? Насколько я себя помню, они всегда были нашими.

Наталья Степановна. Ну, это, положим, извините!

Ломов. Из бумаг это видно, уважаемая Наталья Степановна. Воловьи Лужки были когда-то спорными, это правда; но теперь всем известно, что они мои. И спорить тут нечего. Изволите ли видеть, бабушка моей тетушки отдала эти Лужки в бессрочное и в безвозмездное пользование крестьянам дедушки вашего батюшки за то, что они жгли для нее кирпич. Крестьяне дедушки вашего батюшки пользовались безвозмездно Лужками лет сорок и привыкли считать их как бы своими, потом же, когда вышло Положение…

Наталья Степановна. И совсем не так, как вы рассказываете! И мой дедушка, и прадедушка считали,

что ихняя земля доходила до Горелого болота — значит, Воловьи Лужки были наши. Что ж тут спорить? — не понимаю. Даже досадно!

Ломов. Я вам бумаги покажу, Наталья Степановна!

Наталья Степановна. Нет, вы просто шутите или дразните меня… Сюрприз какой! Владеем землей чуть ли не триста лет, и вдруг нам заявляют, что земля не наша! Иван Васильевич, простите, но я даже ушам своим не верю… Мне не дороги эти Лужки. Там всего пять десятин, и стоят они каких-нибудь триста рублей, но меня возмущает несправедливость. Говорите что угодно, но несправедливости я терпеть не могу.

Ломов. Выслушайте меня, умоляю вас! Крестьяне дедушки вашего батюшки, как я уже имел честь сказать вам, жгли для бабушки моей тетушки кирпич. Тетушкина бабушка, желая сделать им приятное…

Наталья Степановна. Дедушка, бабушка, тетушка… ничего я тут не понимаю! Лужки наши, вот и все.

Ломов. Мои-с!

Наталья Степановна. Наши! Хоть вы два дня доказывайте, хоть наденьте пятнадцать фраков, а они наши, наши, наши!.. Вашего я не хочу и своего

терять не желаю… Как вам угодно!

Ломов. Мне, Наталья Степановна, Лужков не надо, но я из принципа. Если угодно, то, извольте, я вам подарю их.

Наталья Степановна. Я сама могу подарить вам их: они мои!.. Все это по меньшей мере странно, Иван Васильевич! До сих пор мы вас считали хорошим соседом, другом, в прошлом году давали вам свою молотилку, и через это самим нам пришлось домолачивать свой хлеб в ноябре, а вы поступаете с нами, как с цыганами. Дарите мне мою же землю. Извините, это не по-соседски! По-моему, это даже дерзость, если хотите…

Ломов. По-вашему, выходит, значит, что я узурпатор? Сударыня, никогда я чужих земель не захватывал и обвинять меня в этом никому не позволю… *(Быстро идет к графину и пьет воду.)* Воловьи Лужки мои!

Наталья Степановна. Неправда, наши!

Ломов. Мои!

Наталья Степановна. Неправда! Я вам докажу! Сегодня же пошлю своих косарей на эти Лужки!

Ломов. Что-с?

Наталья Степановна. Сегодня же там будут мои косари!

Ломов. А я их в шею!

Наталья Степановна. Не смеете!

Ломов *(хватается за сердце).* Воловьи Лужки мои! Понимаете? Мои!

Наталья Степановна. Не кричите, пожалуйста! Можете кричать и хрипеть от злобы у себя дома, а тут прошу держать себя в границах!

Ломов. Если бы, сударыня, не это страшное, мучительное сердцебиение, если бы жилы не стучали в висках, то я поговорил бы с вами иначе! *(Кричит.)* Воловьи Лужки мои!

Наталья Степановна. Наши!

Ломов. Мои!

Наталья Степановна. Наши!

Ломов. Мои!

IV

Те же и Чубуков.

Чубуков *(входя).* Что такое? О чем кричите? Наталья Степановна. Папа, объясни, пожалуйста, этому господину, кому принадлежат Воловьи Лужки: нам или ему?

Чубуков *(ежу).* Цыпочка, Лужки наши!

Ломов. Да помилуйте, Степан Степаныч, откуда они ваши? Будьте хоть вы рассудительным чело-

веком! Бабушка моей тетушки отдала Лужки во временное безвозмездное пользование крестьянам вашего дедушки. Крестьяне пользовались землей сорок лет и привыкли к ней, как бы к своей, когда же вышло Положение…

Чубуков. Позвольте, драгоценный… Вы забываете, что именно крестьяне не платили вашей бабушке и тому подобное, потому что Лужки тогда были спорными и прочее… А теперь всякая собака знает, вот именно, что они наши. Вы, значит, плана не видели!

Ломов. А я вам докажу, что они мои!

Чубуков. Не докажете, любимец мой.

Ломов. Нет, докажу!

Чубуков. Мамочка, зачем же кричать так? Криком, вот именно, ничего не докажете. Я вашего не желаю и своего упускать не намерен. С какой стати? Уж коли на то пошло, милаша моя, ежели вы намерены оспаривать Лужки и прочее, то я скорее подарю их мужикам, чем вам. Так-то!

Ломов. Не понимаю! Какое же вы имеете право дарить чужую собственность?

Чубуков. Позвольте уж мне знать, имею я право или нет. Вот именно, молодой человек, я не привык, чтобы со мною разговаривали таким тоном и прочее. Я, молодой человек, старше вас вдвое

и прошу вас говорить со мною без ажитации и тому подобное.

Ломов. Нет, вы просто меня за дурака считаете и смеетесь надо мною! Мою землю называете своею да еще хотите, чтобы я был хладнокровен и говорил с вами по-человечески! Так хорошие соседи не поступают, Степан Степаныч! Вы не сосед, а узурпатор!

Чубуков. Что-с? Что вы сказали?

На талья Степановна. Папа, сейчас же пошли на Лужки косарей!

Чубуков *(Ломову).* Что вы сказали, милостивый государь?

Наталья Степановна. Воловьи Лужки наши, и я не уступлю, не уступлю, не уступлю!

Ломов. Это мы увидим! Я вам судом докажу, что они мои!

Чубуков. Судом? Можете подавать в суд, милостивый государь, и тому подобное! Можете! Я вас знаю, вы только, вот именно, и ждете случая, чтобы судиться и прочее… Кляузная натура! Весь ваш род был сутяжный! Весь!

Ломов. Прошу не оскорблять моего рода! В роду Ломовых все были честные и не было ни одного, который находился бы под судом за растрату, как ваш дядюшка!

Чубуков. А в вашем ломовском роду все были сумасшедшие!

Наталья Степановна. Все, все, все!

Чубуков. Дед ваш пил запоем, а младшая тетушка, вот именно, Настасья Михайловна, бежала с архитектором и прочее…

Ломов. А ваша мать была кривобокая. *(Хватается за сердце.)* В боку дернуло… В голову ударило… Батюшки!.. Воды!

Чубуков. А ваш отец был картежник и обжора!

Наталья Степановна. А тетка — сплетница, каких мало!

Ломов. Левая нога отнялась… А вы интриган… Ох, сердце!.. И ни для кого не тайна, что вы перед выборами под… В глазах искры… Где моя шляпа?

Наталья Степановна. Низко! Нечестно! Гадко!

Чубуков. А сами вы, вот именно, ехидный, двуличный и каверзный человек! Да-с!

Ломов. Вот она, шляпа… Сердце… Куда идти? Где дверь? Ох!.. Умираю, кажется… Нога волочится… *(Идет к двери.)*

Чубуков (*ему вслед).* И чтоб ноги вашей больше не было у меня в доме!

Наталья Степановна. Подавайте в суд! Мы увидим!

Ломов уходит пошатываясь.

V

Чубуков и Наталья Степановна.

Чубуков. К черту! *(Ходит в волнении.)*

Наталья Степановна. Каков негодяй? Вот и верь после этого добрым соседям!

Чубуков. Мерзавец! Чучело гороховое!

Наталья Степановна. Урод этакий! Присвоил себе чужую землю да еще смеет браниться.

Чубуков. И эта кикимора, эта, вот именно, куриная слепота осмеливается еще делать предложение и прочее! А? Предложение!

Наталья Степановна. Какое предложение?

Чубуков. Как же! Приезжал за тем, чтоб тебе предложение сделать.



Наталья Степановна. Предложение? Мне? Отчего же ты раньше мне этого не сказал?

Чубуков. И во фрак потому нарядился! Сосиска этакая! Сморчок!

Наталья Степановна. Мне? Предложение? Ах! *(Падает в кресло и стонет.)* Вернуть его! Вернуть! Ах! Вернуть!

Чубуков. Кого вернуть?

Наталья Степановна. Скорей, скорей! Дурно! Вернуть! *(Истерика.)*

Чубуков. Что такое? Что тебе? *(Хватает себя за голову.)* Несчастный я человек! Застрелюсь! Повешусь! Замучили!

Наталья Степановна. Умираю! Вернуть! Чубуков. Тьфу! Сейчас. Не реви! *(Убегает.)*

Наталья Степановна (*одна, стонет).* Что мы наделали! Вернуть! Вернуть!

Чубуков *(вбегает.).* Сейчас придет и прочее, черт его возьми! Уф! Говори сама с ним, а я, вот именно, не желаю…

Наталья Степановна (*стонет).* Вернуть!

Чубуков *(кричит).* Идет он, тебе говорят. «О, что за комиссия, Создатель, быть взрослой дочери отцом!» Зарежусь! Обязательно зарежусь! Выругали человека, осрамили, выгнали, а все это ты… ты!

Наталья Степановна. Нет, ты!

Чубуков. Я же виноват, вот именно!

В дверях показывается Ломов.

Ну, разговаривай сама с ним! *(Уходит.)*

VI

Наталья Степановна и Ломов.

Ломов *(входит, изнеможенный).* Страшное сердцебиение… Нога онемела… в боку дергает…

Наталья Степановна. Простите, мы погорячились, Иван Васильевич… Я теперь припоминаю: Воловьи Лужки в самом деле ваши.

Ломов. Страшно сердце бьется… Мои Лужки… На обоих глазах живчики прыгают…

Наталья Степановна. Ваши, ваши Лужки… Садитесь…

Садятся.

Мы были не правы…

Ломов. Я из принципа… Мне не дорога земля, но дорог принцип…

Наталья Степановна. Именно принцип… Давайте поговорим о чем-нибудь другом.

Ломов. Тем более что у меня есть доказательства. Бабушка моей тетушки отдала крестьянам дедушки вашего батюшки…

Наталья Степановна. Будет, будет об этом… *(В сторону.)* Не знаю, с чего начать… *(Ему.)* Скоро собираетесь на охоту?

Ломов. По тетеревам, уважаемая Наталья Степановна, думаю после жнитва начать. Ах, вы слышали? Представьте, какое у меня несчастье! Мой Угадай, которого вы изволите знать, захро-

мал.

Наталья Степановна. Какая жалость! Отчего же?

Ломов. Не знаю... Должно быть, вывихнул или другие собаки покусали... *(Вздыхает.)* Самая лучшая собака, не говоря уж о деньгах! Ведь я за него Миронову 125 рублей заплатил.

Наталья Степановна. Переплатили, Иван Васильевич!

Ломов. А по-моему, это очень дешево. Собака чудесная.

На талья Степановна. Папа дал за своего Откатая 85 рублей, а ведь Откатай куда лучше вашего Угадая!

Ломов. Откатай лучше Угадая? Что вы! *(Смеется.)* Откатай лучше Угадая!

Наталья Степановна. Конечно, лучше! Откатай, правда, молод, еще не опсовел, но по ладам и по розвязи лучше его нет даже у Волчанецкого.

Ломов. Позвольте, Наталья Степановна, но ведь вы забываете, что он подуздоват[16], а подуздоватая собака всегда непоимиста[17]!

Наталья Степановна. Подуздоват? В первый раз слышу!

---

[16] Примечания: 16
Поду́здая собака — та, у которой нижняя челюсть короче верхней.

[17] Примечания: 17
Непои́миста — непонятлива.

Ломов. Уверяю вас, нижняя челюсть короче верхней.

Наталья Степановна. А вы мерили?

Ломов. Мерил. До угонки он годится, конечно, но если на-завладай, то едва ли…

Наталья Степановна. Во-первых, наш Откатай породистый, густопсовый, он сын Запрягая и Стамески, а у вашего муруго-пегого не доберешься до породы… Потом, стар и уродлив, как кляча…

Ломов. Стар, да я за него пяти ваших Откатаев не возьму… Разве можно? Угадай — собака, а Откатай… даже и спорить смешно… Таких, как ваш Откатай, у всякого выжлятника[18] — хоть пруд пруди. Четвертная — красная цена.

Наталья Степановна. В вас, Иван Васильевич, сидит сегодня какой-то бес противоречия. То выдумали, что Лужки ваши, то Угадай лучше Откатая. Не люблю я, когда человек говорит не то, что думает. Ведь вы отлично знаете, что Откатай во сто раз лучше вашего… этого глупого У гадая. Зачем же говорить напротив?

Ломов. Я вижу, Наталья Степановна, вы считаете меня за слепого или за дурака. Да поймите, что ваш Откатай подуздоват!

---

[18] Примечания: 18
Выжлятник — старший псарь.

Наталья Степановна. Неправда.

Ломов. Подуздоват!

Наталья Степановна (*кричит).* Неправда!

Ломов. Что же вы кричите, сударыня?

Наталья Степановна. Зачем же вы говорите чушь? Ведь это возмутительно! Вашего Угадал подстрелить пора, а вы сравниваете его с Откатаем!

Ломов. Извините, я не могу продолжать этого спора. У меня сердцебиение.

Наталья Степановна. Я заметила: те охотники больше всех спорят, которые меньше всех понимают.

Ломов. Сударыня, прошу вас: замолчите... У меня лопается сердце... *(Кричит.)* Замолчите!

Наталья Степановна. Не замолчу, пока вы не сознаетесь, что Откатай во сто раз лучше вашего Угадал!

Ломов. Во сто раз хуже! Чтоб он издох, ваш Откатай! Виски... глаз... плечо...

Наталья Степановна. А вашему дурацкому Угадаю нет надобности издыхать, потому что он и без того уже дохлый!

Ломов *(плачет).* Замолчите! У меня разрыв сердца!!

Наталья Степановна. Не замолчу!

VII

Те же и Чубуков.

Чубуков *(входит).* Что еще?

На талья Степановна. Папа, скажи искренно, по чистой совести: какая собака лучше — наш Откатай или его Угадай?

Ломов. Степан Степанович, умоляю вас, скажите вы только одно: подуздоват ваш Откатай или нет? Да или нет?

Чубуков. А хоть бы и так? Велика важность! Да зато во всем уезде лучше собаки нет и прочее.

Ломов. Но ведь мой Угадай лучше? По совести!

Чубуков. Вы не волнуйтесь, драгоценный… Позвольте… Ваш Угадай, вот именно, имеет свои хорошие качества… Он чистопсовый, на твердых ногах, крутобедрый и тому подобное. Но у этой собаки, если хотите знать, красавец мой, два существенных недостатка: стара и с коротким щиппцом[19].

Ломов. Извините, у меня сердцебиение… Возьмем факты… Извольте припомнить, в Маруськиных

---

[19] Примечания: 19
Щипе́ц — собачья морда.

зеленях мой Угадай шел с графским Размахаем ухо в ухо, а ваш Откатай отстал на целую версту.

Чубуков. Отстал, потому что графский доезжачий ударил его арапником.

Ломов. За дело. Все собаки за лисицей бегут, а Откатай барана трепать стал!

Чубуков. Неправда-с!.. Голубушка, я вспыльчив и, вот именно, прошу вас, прекратим этот спор. Ударил потому, что всем завидно на чужую собаку глядеть... Да-с! Ненавистники все! И вы, сударь, не без греха! Чуть, вот именно, заметите, что чья собака лучше вашего У гадая, сейчас же начинаете того, этого... самого... и тому подобное... Ведь я все помню!

Ломов. И я помню!

Чубуков *(дразнит).* «И я помню»!.. А что вы помните?

Ломов. Сердцебиение... Нога отнялась... Не могу.

Наталья Степановна^*дразнит).* «Сердцебиение»!.. Какой вы охотник? Вам в кухне на печи лежать да тараканов давить, а не лисиц травить! «Сердцебиение»!..

Чубуков. Вправду, какой вы охотник? С вашими, вот именно, сердцебиениями дома сидеть, а не на седле болтаться. Добро бы охотились, а то ведь ездите только за тем, чтобы спорить да чужим

собакам мешать и прочее. Я вспыльчив, оставим этот разговор. Вы вовсе, вот именно, не охотник!

Ломов. А вы разве охотник? Вы ездите только за тем, чтобы к графу подмазываться да интриговать… Сердце!.. Вы интриган!

Чубуков. Что-с? Я интриган? *(Кричит.)* Замолчать!

Ломов. Интриган!

Чубуков. Мальчишка! Щенок!

Ломов. Старая крыса! Иезуит!

Чубуков. Замолчи, а то я подстрелю тебя из поганого ружья, как куропатку! Свистун!

Ломов. Всем известно, что — ох, сердце! — ваша покойная жена вас била… Нога… виски… искры… Падаю, падаю!..

Чубуков. А ты у своей ключницы под башмаком!

Ломов. Вот, вот, вот… лопнуло сердце! Плечо оторвалось… Где мое плечо?.. Умираю! *(Падает в кресло.)* Доктора! *(Обморок.)*



Чубуков. Мальчишка! Молокосос! Свистун! Мне

дурно! *(Пьет воду.)* Дурно!

Наталья Степановна. Какой вы охотник? Вы и на лошади сидеть не умеете! *(Отцу.)* Папа! Что с ним? Папа! Погляди, папа! *(Взвизгивает.)* Иван Васильевич! Он умер!

Чубуков. Мне дурно!.. Дыханье захватило!.. Воздуху!

Наталья Степановна. Он умер! *(Треплет Ломова за рукав.)* Иван Васильич! Иван Васильич! Что мы наделали? Он умер! *(Падает в кресло.)* Доктора, доктора! *(Истерика.)*

Чубуков. Ох!.. Что такое? Что тебе?

Наталья Степановна *(стонет).* Он умер!., умер!

Чубуков. Кто умер? *(Поглядев на Ломова.)* В самом деле помер! Батюшки! Воды! Доктора! *(Подносит ко рту Ломова стакан.)* Выпейте!.. Нет, не пьет... Значит, умер и тому подобное... Несчастнейший я человек! Отчего я не пускаю себе пулю в лоб? Отчего я еще до сих пор не зарезался? Чего я жду? Дайте мне нож! Дайте мне пистолет!

Ломов шевелится.

Оживает, кажется... Выпейте воды!.. Вот так...

Ломов. Искры... туман... Где я?

Чубуков. Женитесь вы поскорей — и ну вас к лешему! Она согласна! *(Соединяет руки Ломова*

и дочери.) Она согласна и тому подобное. Благословляю вас и прочее. Только оставьте вы меня в покое!



Ломов. А? Что? *(Поднимаясь.)* Кого?

Чубуков. Она согласна! Ну? Поцелуйтесь, и... и черт с вами!

Наталья Степановна *(стонет).* Он жив... Да, да, я согласна...

Чубуков. Целуйтесь!

Ломов. А? Кого? *(Целуется с Натальей Степановной.)* Очень приятно… Позвольте, в чем дело? Ах, да, понимаю… Сердце… искры… Я счастлив, Наталья Степановна… *(Целует руку.)* Нога отнялась…

Наталья Степановна. Я… я тоже счастлива…

Чубуков. Точно гора с плеч… Уф!

Наталья Степановна. Но… все-таки, согласитесь хоть теперь: Угадай хуже Откатая.

Ломов. Лучше!

Наталья Степановна. Хуже!

Чубуков. Ну, начинается семейное счастье! Шампанского!

Ломов. Лучше!

Наталья Степановна. Хуже! Хуже! Хуже! Чубуков *(стараясь перекричать).* Шампанского! Шампанского!

Занавес

Юбилей
Шутка в одном действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Шипучин Андрей Андреевич, председатель правления N-ского Общества взаимного кредита, нестарый человек, с моноклем.

Татьяна Алексеевна, его жена, 25 лет.

Хирин Кузьма Николаевич, бухгалтер банка, старик.

Мерчуткина Настасья Федоровна, старуха в салопе.

Члены банка.

Служащие в банке.

Действие происходит в N-ском банке взаимного кредита.

Кабинет председателя правления. Налево дверь, ведущая в контору банка. Два письменных стола. Обстановка с претензией на изысканную роскошь: бархатная мебель, цветы, статуи, ковры, телефон.

Полдень.

Хирин один; он в валенках.

Хирин *(кричит в дверь).* Пошлите взять в аптеке валериановых капель на пятнадцать копеек да велите принести в директорский кабинет свежей воды! Сто раз вам говорить! *(Идет к столу.)* Совсем замучился. Пишу уже четвертые сутки и глаз не смыкаю; от утра до вечера пишу здесь, а от вечера до утра — дома. *(Кашляет.)* А тут еще воспаление во всем теле. Зноб, жар, кашель, ноги ломит и в глазах этакие… междометия. *(Садится.)* Наш кривляка, этот мерзавец, председатель правления, сегодня на общем собрании будет читать доклад: «Наш банк в настоящем и в будущем». Какой Гамбетта[20], подумаешь… *(Пишет.)* Два… один… один… шесть… ноль… семь… Затем шесть… ноль… один… шесть… Ему хочется пыль пустить, а я вот сиди и работай для него как каторжный!.. Он в этот доклад одной только поэзии напустил, и больше ничего, а я вот день-деньской на счетах щелкай, черт бы его душу драл!.. *(Щелкает на счетах.)* Терпеть не могу! *(Пишет.)* Значит, один… три… семь… два… один… ноль… Обещал наградить за труды. Если сегодня все

[20] Примечания: 20

Гамбетта Леон Мишель Каор (1838–1882) — французский политический и государственный деятель, республиканец.

обойдется благополучно и удастся очки втереть публике, то обещал золотой жетон и триста наградных… Увидим. *(Пишет.)* Ну, а если труды мои пропадут даром, то, брат, не взыщи… Я человек вспыльчивый… Я, брат, под горячую руку могу и преступление совершить… Да!



За сценой шум и аплодисменты. Голос Шипу-

чина: «Благодарю! Благодарю! Тронут!» Входит Ш и п у ч и н. Он во фраке и белом галстуке; в руках только что поднесенный ему альбом.

Шипучин *(стоя в дверях и обращаясь в контору).* Этот ваш подарок, дорогие сослуживцы, я буду хранить до самой смерти как воспоминание о счастливейших днях моей жизни! Да, милостивые государи! Еще раз благодарю! *(Посылает воздушный поцелуй и идет к Хирину.)* Мой дорогой, мой почтеннейший Кузьма Николаич!

Все время, пока он на сцене, служащие изредка входят с бумагами для подписи и уходят.

Хирин *(вставая).* Честь имею поздравить вас, Андрей Андреич, с пятнадцатилетней годовщиной нашего банка и желаю, чтоб…

Шипучин *(крепко пожимает руку).* Благодарю, мой дорогой! Благодарю! Для сегодняшнего знаменательного дня, ради юбилея, полагаю, можно и поцеловаться!..

Целуются.

Очень, очень рад! Спасибо вам за службу… за все, за все спасибо! Если мною, пока я имею честь быть председателем правления этого банка, сделано что-нибудь полезное, то этим я обязан прежде всего своим сослуживцам. *(Вздыхает.)*

Да, батенька, пятнадцать лет! Пятнадцать лет, не будь я Шипучин! *(Живо.)* Ну, что мой доклад? Подвигается?

Хирин. Да. Осталось всего страниц пять.

Шипучин. Прекрасно! Значит, к трем часам будет готов?

Хирин. Если никто не помешает, то кончу. Пустяки осталось.

Шипучин. Великолепно! Великолепно, не будь я Шипучин! Общее собрание будет в четыре. Пожалуйста, голубчик. Дайте-ка мне первую половину, я проштудирую… Дайте скорее… *(Берет доклад.)* На этот доклад я возлагаю громадные надежды… Это мое profession de foi[21] или, лучше сказать, мой фейерверк… Фейерверк, не будь я Шипучин! *(Садится и про себя читает доклад.)* Устал я, однако, адски… Ночью у меня был припадочек подагры, все утро провел в хлопотах и побегушках, потом эти волнения, овации, эта ажитация… устал!

Хирин (*пишет).* Два… ноль… ноль… три… девять… два… ноль… От цифр в глазах зелено… Три… один… шесть… четыре… один… пять… *(Щелкает на счетах.)*

---

[21] Примечания: 21
Исповедание веры *(фр.).*

Шипучин. Тоже неприятность… Сегодня утром была у меня ваша супруга и опять жаловалась на вас. Говорила, что вчера вечером вы за нею и за свояченицей с ножом гонялись. Кузьма Николаич, на что это похоже? Ай-ай!

Хирин (*суровo).* Осмелюсь ради юбилея, Андрей Андреич, обратиться к вам с просьбой. Прошу вас, хотя бы из уважения к моим каторжным трудам, не вмешивайтесь в мою семейную жизнь. Прошу!

Шипучин *(вздыхает).* Невозможный у вас характер, Кузьма Николаич! Человек вы прекрасный, почтенный, а с женщинами держите себя, как какой-нибудь Джек. Право, не понимаю, за что вы их так ненавидите?

Хирин. А я вот не понимаю: за что вы их так любите?

Пауза.

Шипучин. Служащие поднесли сейчас альбом, а члены банка, как я слышал, хотят поднести мне адрес и серебряный жбан… *(Играя моноклем.)* Хорошо, не будь я Шипучин! Это не лишнее… Для репутации банка необходима некоторая помпа, черт возьми! Вы свой человек, вам все, конечно, известно… Адрес сочинял я сам, серебряный жбан

купил тоже я сам... Ну, и переплет для адреса сорок пять рублей, но без этого нельзя. Сами бы они не догадались. *(Оглядывается.)* Обстановочка-то какова! Что за обстановка! Вот говорят, что я мелочен, что мне нужно, чтобы только замки у дверей были почищены, чтоб служащие носили модные галстуки да у подъезда стоял толстый швейцар. Ну нет, судари мои. Замки у дверей и толстый швейцар — не мелочь. Дома у себя я могу быть мещанином, есть и спать по-свински, пить запоем...

Хирин. Прошу, пожалуйста, без намеков!

Шипучин. Ах, никто не намекает! Какой у вас невозможный характер... Так вот я и говорю: дома у себя я могу быть мещанином, парвеню[22] и слушаться своих привычек, но здесь все должно быть en grand[23]. Здесь банк! Здесь каждая деталь должна импонировать, так сказать, и иметь торжественный вид. *(Поднимает с пола бумажку и бросает ее в камин.)* Заслуга моя именно в том, что я высоко поднял репутацию банка!.. Великое дело — тон! Великое, не будь я Шипучин. *(Оглядев Хирина.)* Дорогой мой, каждую минуту сюда

---

[22] Примечания: 22
Парвенѝ — выскочка, человек незнатного происхождения *(фр.).*

[23] Примечания: 23
На широкую ногу *(фр.).*

может явиться депутация от членов банка, а вы в валенках, в этом шарфе… в каком-то пиджаке дикого цвета… Могли бы надеть фрак, ну, наконец, черный сюртук…

Хирин. Для меня здоровье дороже ваших членов банка. У меня воспаление всего тела.

Шипучин *(волнуясь).* Но согласитесь, что это беспорядок! Вы нарушаете ансамбль!

Хирин. Если придет депутация, то я спрятаться могу. Не велика беда… *(Пишет.)* Семь… один… семь… два… один… пять… ноль. Я и сам беспорядков не люблю… Семь… два… девять… *(Щелкает на счетах.)* Терпеть не могу беспорядков! Вот хорошо бы вы сделали, если бы не приглашали сегодня на юбилейный обед дам…

Шипучин. Пустяки какие…

Хирин. Я знаю, вы для шику напустите их сегодня полную залу, но, глядите, они вам все дело испортят. От них всякий вред и беспорядок.

Шипучин. Напротив, женское общество возвышает!

Хирин. Да… Ваша супруга, кажется, образованная, а в понедельник на прошлой неделе такое выпалила, что я потом дня два только руками разводил. Вдруг при посторонних спрашивает: «Правда ли, что у нас в банке муж накупил акций

Дряжско-Пряжского банка, которые упали на бирже? Ах, мой муж так беспокоится!» Это при посторонних-то! И зачем вы откровенничаете с ними, не понимаю! Хотите, чтобы они вас под уголовщину подвели?

Шипучин. Ну, довольно, довольно! Для юбилея это все слишком мрачно. Кстати, вы мне напомнили. *(Смотрит на часы.)* Сейчас должна приехать моя супружница. В сущности, следовало бы съездить на вокзал, встретить ее, бедняжку, но нет времени, и… и устал. Признаться, я не рад ей! То есть я рад, но для меня было бы приятнее, если бы она еще денька два пожила у своей матери. Она потребует, чтобы я сегодня провел весь вечер с нею, а между тем у нас сегодня предполагается после обеда маленькая экскурсия… *(Вздрагивает.)* Однако у меня уже начинается нервная дрожь. Нервы так напряжены, что достаточно, кажется, малейшего пустяка, чтобы я расплакался! Нет, надо быть крепким, не будь я Шипучин!

Входит Татьяна Алексеевна, в ватерпруфе[24] и с дорожной сумочкой через плечо.

Шипучин. Ба-а! Легка на помине!

---

[24] Примечания: 24
Ватерпру́ф — плащ.

Татьяна Алексеевна. Милый! *(Бежит к мужу, продолжительный поцелуй.)*

Шипучин. А мы только что о тебе говорили!.. *(Смотрит на часы.)*

Татьяна Алексеевна (*запыхавшись).* Соскучился? Здоров? А я еще дома не была, с вокзала прямо сюда. Нужно тебе рассказать многое-многое… не могу утерпеть… Раздеваться я не буду, я на минутку. *(Хирину.)* Здравствуйте, Кузьма Николаич! *(Мужу.)* Дома у нас все благополучно?

Шипучин. Все. А ты за эту неделю пополнела, похорошела… Ну, как съездила?

Татьяна Алексеевна. Превосходно! Кланяются тебе мама и Катя. Василий Андреич велел тебя поцеловать. *(Целует.)* Тетя прислала тебе банку варенья, и все сердятся, что ты не пишешь. Зина велела тебя поцеловать. *(Целует.)* Ах, если б ты знал, что было! Что было! Мне даже страшно рассказывать! Ах, что было! Но я вижу по глазам, что ты мне не рад!

Шипучин. Напротив… Милая… *(Целует.)*

Хирин сердито кашляет.

Татьяна Алексеевна *(вздыхает). Ах, бедная* Катя, бедная Катя! Мне ее так жаль, так жаль!

Шипучин. У нас, милая, сегодня юбилей, всякую

минуту может явиться сюда депутация от членов банка, а ты не одета.

Татьяна Алексеевна. Правда, юбилей! Поздравляю, господа… Желаю вам… Значит, сегодня собрание, обед… Это я люблю. А помнишь, тот прекрасный адрес, который ты так долго сочинял для членов банка? Его сегодня будут тебе читать?

Хирин сердито кашляет.

Шипучин *(смущенно).* Милая, об этом не говорят… Право, ехала бы домой.

Татьяна Алексеевна. Сейчас, сейчас. В одну минуту расскажу и уеду. Я тебе все с самого начала. Ну-с… Когда ты меня проводил, я, помнишь, села рядом с той полной дамой и стала читать. В вагоне я не люблю разговаривать. Три станции все читала и ни с кем ни одного слова… Ну, наступил вечер, и такие, знаешь, пошли всё мрачные мысли! Напротив сидел молодой человек, ничего себе так, недурненький, брюнет… Ну, разговорились… Подошел моряк, потом студент какой-то… *(Смеется.)* Я сказала им, что я не замужем… Как они за мной ухаживали! Болтали мы до самой полночи, брюнет рассказывал ужасно смешные анекдоты, а моряк все пел. У меня грудь заболела от смеха. А когда моряк — ах, эти моряки! — когда моряк узнал нечаянно, что меня зовут Татьяной, то

знаешь, что он пел? *(Поет басом.)* «Онегин, я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну!..» *(Хохочет.)*

Хирин сердито кашляет.

Шипучин. Однако, Танюша, мы мешаем Кузьме Николаичу. Поезжай домой, милая… После…

Татьяна Алексеевна. Ничего-ничего, пусть и он послушает, это очень интересно. Я сейчас кончу. На станцию выехал за мной Сережа. Подвернулся тут какой-то молодой человек, податной инспектор, кажется… ничего себе, славненький, особенно глаза… Сережа представил его, и мы поехали втроем… Погода была чудная…

За сценой голоса: «Нельзя! Нельзя! Что вам угодно?»

Входит Мерчуткина.

Мерчуткина *(в дверях, отмахиваясь).* Чего хватаете-то? Вот еще! Мне самого нужно!.. *(Входит, Шипучину.)* Честь имею, ваше превосходительство… Жена губернского секретаря, Настасья Федоровна Мерчуткина-с.

Шипучин. Что вам угодно?

Мерчуткина. Изволите ли видеть, ваше превосходительство, муж мой, губернский секретарь

Мерчуткин, был болен пять месяцев, и пока он лежал дома и лечился, ему без всякой причины отставку дали, ваше превосходительство, а когда я пошла за его жалованьем, то они, изволите ли видеть, взяли и вычли из его жалованья двадцать четыре рубля тридцать шесть копеек. За что? — спрашиваю. «А он, — говорят, — из товарищеской кассы брал и за него другие ручались». Как же так? Нешто он мог без моего согласия брать? Так нельзя, ваше превосходительство! Я женщина бедная, только и кормлюсь жильцами… Я слабая, беззащитная… От всех обиду терплю и ни от кого доброго слова не слышу.

Шипучин. Позвольте… *(Берет от нее прошение и читает его стоя.)*

Татьяна Алексеевна *(Хирину).* Но нужно сначала… На прошлой неделе вдруг я получаю от мамы письмо. Пишет, что сестре Кате сделал предложение некий Грендилевский. Прекрасный, скромный молодой человек, но без всяких средств и никакого определенного положения. И на беду, представьте себе, Катя увлеклась им. Что тут делать? Мама пишет, чтобы я немедля приехала и повлияла на Катю…

Хирин (*сурово).* Позвольте, вы меня сбили! Вы — мама да Катя, а я вот сбился и ничего не по-

нимаю.

Татьяна Алексеевна. Экая важность! А вы слушайте, когда с вами дама говорит! Отчего вы сегодня такой сердитый? Влюблены? *(Смеется.)*

Шипучин (*Мерчуткиной).* Позвольте, однако, как же это? Я ничего не понимаю…

Татьяна Алексеевна. Влюблены? Ага! Покраснел!

Шипучин *(жене).* Танюша, поди, милая, на минутку в контору. Я сейчас.

Татьяна Алексеевна. Хорошо. *(Уходит.)*

Шипучин. Я ничего не понимаю. Очевидно, вы, сударыня, не туда попали. Ваша просьба, по существу, совсем к нам не относится. Вы потрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж.

Мерчуткина. Я, батюшка, в пяти местах уже была, нигде даже прошения не приняли. Я уж и голову потеряла, да спасибо зятю Борису Матвеичу, надоумил к вам сходить. «Вы, — говорит, — мамаша, обратитесь к господину Шипучину: они влиятельный человек, все могут…» Помогите, ваше превосходительство!

Шипучин. Мы, госпожа Мерчуткина, ничего не можем для вас сделать. Поймите вы: ваш муж, насколько я могу судить, служил по военно-медицинскому ведомству, а наше учреждение совершенно частное, коммерческое, у нас банк.

Как не понять этого!

Мерчуткина. Ваше превосходительство, а что муж мой болен был, у меня докторское свидетельство есть. Вот оно, извольте поглядеть…

Шипучин *(раздраженно).* Прекрасно, я верю вам, но, повторяю, это к нам не относится.

За сценой смех Татьяны Алексеевны; потом мужской смех.

Шипучин *(взглянув на дверь).* Она там мешает служащим. *(Мерчуткиной.)* Странно и даже смешно. Неужели ваш муж не знает, куда вам обращаться?

Мерчуткина. Он, ваше превосходительство, у меня ничего не знает. Зарядил одно: «Не твое дело! Пошла вон!» — да и все тут…

Шипучин. Повторяю, сударыня, ваш муж служил по военно-медицинскому ведомству, а здесь банк, учреждение частное, коммерческое…

Мерчуткина. Так, так, так… Понимаю, батюшка. В таком случае, ваше превосходительство, прикажите выдать мне хоть пятнадцать рублей! Я согласна не всё сразу.

Шипучин *(вздыхает).* Уф!

Хирин. Андрей Андреич, этак я никогда доклада не кончу!

Шипучин. Сейчас. *(Мерчуткиной.)* Вам не втолкуешь. Да поймите же, что обращаться к нам с подобной просьбой так же странно, как подавать прошение о разводе, например, в аптеку или в пробирную палатку.

Стук в дверь. Голос Татьяны Алексеевны: «Андрей, можно войти?»

(Кричит.) Погоди, милая, сейчас! *(Мерчуткиной.)* Вам не доплатили, но мы-то тут при чем? И к тому же, сударыня, у нас сегодня юбилей, мы заняты… и может сюда войти кто-нибудь сейчас… Извините…

Мерчуткина. Ваше превосходительство, пожалейте меня, сироту! Я женщина слабая, беззащитна я… Замучилась до смерти… и с жильцами судись, и за мужа хлопочи, и по хозяйству бегай, а тут еще зять без места.

Шипучин. Госпожа Мерчуткина, я… Нет, извините, я не могу с вами говорить! У меня даже голова закружилась… Вы и нам мешаете, и время понапрасну теряете… *(Вздыхает, в сторону.)* Вот пробка, не будь я Шипучин! *(Хирину.)* Кузьма Николаич, объясните вы, пожалуйста, госпоже Мерчуткиной… *(Машет рукой и уходит в правление.)*

Хирин (*подходит к Мерчуткиной. Сурово).* Что вам угодно?

Мерчуткина. Я женщина слабая, беззащитная… На вид, может, я крепкая, а ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой! Еле на ногах стою и аппетита решилась. Кофей сегодня пила, и без всякого удовольствия.

Хирин. Я вас спрашиваю: что вам угодно?

Мерчуткина. Прикажите, батюшка, выдать мне пятнадцать рублей, а остальные хоть через месяц.

Хирин. Но ведь вам, кажется, было сказано русским языком: здесь банк!

Мерчуткина. Так, так… А если нужно, я могу медицинское свидетельство представить.

Хирин. У вас на плечах голова или что?

Мерчуткина. Миленький, ведь я по закону прошу. Мне чужого не нужно.

Хирин. Я вас, мадам, спрашиваю: у вас голова на плечах или что? Ну, черт меня подери совсем, мне некогда с вами разговаривать! Я занят. *(Указывает на дверь.)* Прошу!

Мерчуткина (*удивленная).* А деньги как же?..

Хирин. Одним словом, у вас на плечах не голова, а вот что… *(Стучит пальцем по столу, потом себе по лбу.)*

Мерчуткина *(обидевшись).* Что?! Ну нечего, нечего…

Своей жене постукай… Я губернская секретарша… Со мной не очень!

Хирин *(вспылив, вполголоса).* Вон отсюда!

Мерчуткина. Но, но, но… Не очень!

Хирин *(вполголоса).* Ежели ты не уйдешь сию секунду, то я за дворником пошлю! Вон! *(Топочет ногами.)*

Мерчуткина. Нечего, нечего! Не боюсь! Видали мы таких… Скважина!

Хирин. Кажется, во всю свою жизнь не видал противнее… Уф! Даже в голову ударило… *(Тяжело дышит.)* Я тебе еще раз говорю… Слышишь! Ежели ты, старая кикимора, не уйдешь отсюда, то я тебя в порошок сотру! У меня такой характер, что я могу из тебя на весь век калеку сделать! Я могу преступление совершить!

Мерчуткина. Собака лает — ветер носит. Не испугалась. Видали мы таких.

Хирин *(в отчаянии).* Видеть ее не могу! Мне дурно! Я не могу! *(Идет к столу и садится.)* Напустили баб полон банк, не могу я доклада писать! Не могу!



Мерчуткина. Я не чужое прошу, а свое, по закону. Ишь срамник! В присутственном месте в валенках сидит... Мужик...

Входят Шипучин и Татьяна Алексеевна.

Татьяна Алексеевна *(входя за мужем).* Поехали мы на вечер к Бережницким. На Кате было голубенькое фуляровое платье с легким кружевом и

с открытой шейкой… Ей очень к лицу высокая прическа, и я ее сама причесала… Как оделась и причесалась, ну просто очарование!

Шипучин *(уже с мигренью).* Да, да… очарование… Сейчас могут прийти сюда.

Мерчуткина. Ваше превосходительство!..

Шипучин *(уныло).* Что еще? Что вам угодно?

Мерчуткина. Ваше превосходительство!.. *(Указывает на Хирина.)* Вот этот, вот самый… Вот этот постучал себе пальцем по лбу, а потом по столу… Вы велели ему мое дело разобрать, а он насмехается и всякие слова. Я женщина слабая, беззащитная…

Шипучин. Хорошо, сударыня, я разберу… приму меры… Уходите… после!.. *(В сторону.)* У меня подагра начинается!..

Хирин (*подходит к Шипучину, тихо).* Андрей Андреич, прикажите послать за швейцаром, пусть ее в три шеи погонит. Ведь это что такое?

Шипучин *(испуганно).* Нет, нет! Она визг поднимет, а в этом доме много квартир.

Мерчуткина. Ваше превосходительство!..

Хирин (*плачущим голосом).* Но ведь мне доклад надо писать! Я не успею!.. *(Возвращается к столу.)* Я не могу!

Мерчуткина. Ваше превосходительство, когда же я

получу? Мне нынче деньги надобны.

Шипучин *(в сторону, с негодованием).* За-ме-чатель-но подлая баба! *(Ей мягко.)* Сударыня, я уже вам говорил. Здесь банк, учреждение частное, коммерческое…

Мерчуткина. Сделайте милость, ваше превосходительство, будьте отцом родным… Ежели медицинского свидетельства мало, то я могу и из участка удостоверение представить. Прикажите выдать мне деньги!

Шипучин *(тяжело вздыхает).* Уф!

Татьяна Алексеевна (*Мерчуткиной).* Бабушка, вам же говорят, что вы мешаете. Какая вы, право.

Мерчуткина. Красавица, матушка, за меня похлопотать некому. Одно только звание, что пью и ем, а кофей ныне пила без всякого удовольствия.

Шипучин *(в изнеможении, Мерчуткиной).* Сколько вы хотите получить?

Мерчуткина. Двадцать четыре рубля тридцать шесть копеек.

Шипучин. Хорошо! *(Достает из бумажника 25 руб. и подает ей.)* Вот вам двадцать пять рублей. Берите и… уходите!

Хирин сердито кашляет.

Мерчуткина. Покорнейше благодарю, ваше превос-

ходительство… *(Прячет деньги.)*



Татьяна Алексеевна (*садясь около мужа).* Однако мне пора домой… *(Посмотрев на часы.)* Но я еще не кончила… В одну минуточку кончу и уйду… Что было! Ах, что было! Итак, поехали мы на вечер к Бережницким… Ничего себе, весело было, но не особенно… Был, конечно, и Катин вздыхатель

Грендилевский… Ну, я с Катей поговорила, поплакала, повлияла на нее, она тут же на вечере объяснилась с Грендилевским и отказала ему. Ну, думаю, все устроилось как нельзя лучше: маму успокоила, Катю спасла и теперь сама могу быть спокойна… Что же ты думаешь? Перед самым ужином идем мы с Катей по аллее и вдруг… *(Волнуясь.)* И вдруг слышим выстрел… Нет, я не могу говорить об этом хладнокровно! *(Обмахивается платком.)* Нет, не могу!

Шипучин (*вздыхает).* Уф!

Татьяна Алексеевна *(плачет).* Бежим к беседке, а там… там лежит бедный Грендилевский… с пистолетом в руке…

Шипучин. Нет, я этого не вынесу! Я не вынесу! *(Мерчуткиной.)* Вам что еще нужно?

Мерчуткина. Ваше превосходительство, нельзя ли моему мужу опять поступить на место?

Татьяна Алексеевна (*плача).* Выстрелил себе прямо в сердце… вот тут… Катя упала без чувств, бедняжка… А он сам страшно испугался, лежит и… и просит послать за доктором. Скоро приехал доктор и… и спас несчастного…

Мерчуткина. Ваше превосходительство, нельзя ли моему мужу опять поступить на место?

Шипучин. Нет, я не вынесу! *(Плачет.)* Не вынесу!

(Протягивает к Хирину обе руки, в отчаянии.) Прогоните ее! Прогоните, умоляю вас!

Хирин *(подходя к Татьяне Алексеевне).* Вон отсюда!

Шипучин. Не ее, а вот эту… вот эту ужасную… *(Указывает на Мерчуткину.)* Вот эту!

Хирин *(не поняв его, Татьяне Алексеевне).* Вон отсюда! *(Топочет ногами.)* Вон пошла!

Татьяна Алексеевна. Что?! Что вы? С ума сошли?

Шипучин. Это ужасно! Я несчастный человек! Гоните ее! Гоните!

Хирин *(Татьяне Алексеевне).* Вон! Искалечу! Исковеркаю! Преступление совершу!

Татьяна Алексеевна f*бежит от него, он за ней).* Да как вы смеете! Вы нахал! *(Кричит.)* Андрей! Спаси! Андрей! *(Взвизгивает.)*

Ш и п у ч и н *(бежит за ними).* Перестаньте! Умоляю вас! Тише! Пощадите меня!

Хирин (*гонится за Мерчуткиной).* Вон отсюда! Ловите! Бейте! Режьте ее!

Шипучин *(кричит).* Перестаньте! Прошу вас! Умоляю!

Мерчуткина. Батюшки… батюшки!.. *(Взвизгивает.)* Батюшки!..

Татьяна Алексеевна (*кричит).* Спасите! Спасите!.. Ах, ах… дурно! Дурно! *(Вскакивает на стул, потом*

падает на диван и стонет, как в обмороке.)

Хирин *(гонится за Мерчуткиной).* Бейте ее! Лупите! Режьте!

Мерчуткина. Ах, ах… батюшки, в глазах темно! Ах! *(Падает без чувств на руки Шипучина.)*

Стук в дверь и голос за сценой: «Депутация!»

Шипучин. Депутация… репутация… оккупация…

Хирин *(топочет ногами).* Вон, черт бы меня драл! *(Засучивает рукава.)* Дайте мне ее! Преступление могу совершить!



Входит депутация из пяти человек; все во фраках. У одного в руках адрес в бархатном переплете, у другого — жбан. В дверь из правления смотрят

служащие. Татьяна Алексеевна на диване, Мерчуткина на руках у Шипучина, обе тихо стонут.

Член банка *(громко читает).* Многоуважаемый и дорогой Андрей Андреевич! Бросая ретроспективный взгляд на прошлое нашего финансового учреждения и пробегая умственным взором историю его постепенного развития, мы получаем в высшей степени отрадное впечатление. Правда, в первое время его существования небольшие размеры основного капитала, отсутствие каких-либо серьезных операций, а также неопределенность целей ставили ребром гамлетовский вопрос: «Быть или не быть?», и в одно время даже раздавались голоса в пользу закрытия банка. Но вот во главе учреждения становитесь вы. Ваши знания, энергия и присущий вам такт были причиною необычайного успеха и редкого процветания. Репутация банка… *(Кашляет.)* Репутация банка…

Мерчуткина *(стонет).* Ох! Ох!

Татьяна Алексеевна (*стонет).* Воды! Воды!

Член банка (*продолжает).* Репутация… *(Кашляет.)* Репутация банка поднята вами на такую высоту, что наше учреждение может ныне соперничать с лучшими заграничными учреждениями…

Шипучин. Депутация… репутация… оккупация… шли два приятеля вечернею порой и дельный

разговор вели между собой… Не говори, что молодость сгубила, что ревностью истерзана моей.

Член банка (*продолжает в смущении).* Затем, бросая объективный взгляд на настоящее, мы, многоуважаемый и дорогой Андрей Андреевич… *(Понизив тон.)* В таком случае мы после… Мы лучше после…

Уходят в смущении.

Занавес

Медведь
Шутка в одном действии

(Посвящена Н. Н. Соловцову)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Елена Ивановна Попова, вдовушка с ямочками на щеках, помещица.

Григорий Степанович Смирнов, не старый помещик.

Лука, лакей Поповой, старик.

Гостиная в усадьбе Поповой.

I

Попова *(в глубоком трауре, не отрывает глаз от фотографической карточки)* и Лука.

Лука. Нехорошо, барыня... Губите вы себя только... Горничная и кухарка пошли по ягоды, всякое дыхание радуется, даже кошка и та свое удовольствие понимает и по двору гуляет, пташек ловит, а вы цельный день сидите в комнате, словно в монастыре, и никакого удовольствия. Да право! Почитай, уж год прошел, как вы из дому не вы-

ходите!..

Попова. И не выйду никогда… Зачем? Жизнь моя уже кончена. Он лежит в могиле, я погребла себя в четырех стенах… Мы оба умерли.

Лука. Ну вот! И не слушал бы, право. Николай Михайлович померли, так тому и быть, Божья воля, царство им небесное… Погоревали — и будет, надо и честь знать. Не весь же век плакать и траур носить. У меня тоже в свое время старуха померла… Что ж? Погоревал, поплакал с месяц, и будет с нее, а ежели цельный век Лазаря петь, то и старуха того не стоит. *(Вздыхает.)* Соседей всех забыли… И сами не ездите, и принимать не велите. Живем, извините, как пауки, — света белого не видим. Ливрею мыши съели… Добро бы хороших людей не было, а то ведь полон уезд господ… В Рыблове полк стоит, так офицеры — чистые конфеты, не наглядишься! А в лагерях что ни пятница, то бал, и, почитай, каждый день военная оркестра музыку играет… Эх, барыня-матушка! Молодая, красивая, кровь с молоком — только бы и жить в свое удовольствие… Красота-то ведь не навеки дадена! Пройдет годов десять, сами захотите павой пройтись да господам офицерам в глаза пыль пустить, ан поздно будет.



Попова *(решительно).* Я прошу тебя никогда не говорить мне об этом! Ты знаешь, с тех пор как умер Николай Михайлович, жизнь потеряла для меня всякую цену. Тебе кажется, что я жива, но это только кажется! Я дала себе клятву до самой могилы не снимать этого траура и не видеть света… Слышишь? Пусть тень его видит, как я люблю его… Да, я знаю, для тебя не тайна, он часто бывал несправедлив ко мне, жесток и… и даже неверен, но я буду верна до могилы и докажу ему, как я умею любить. Там, по ту сторону гроба, он увидит меня такою же, какою я была до его смерти…

Лука. Чем эти самые слова, пошли бы лучше по саду погуляли, а то велели бы запрячь Тоби или Великана и к соседям в гости…

Попова. Ах!.. *(Плачет.)*

Лука. Барыня!.. Матушка!.. Что вы? Христос с вами!

Попова. Он так любил Тоби! Он всегда ездил на нем к Корчагиным и Власовым. Как он чудно правил! Сколько грации было в его фигуре, когда он изо всей силы натягивал вожжи! Помнишь? Тоби, Тоби! Прикажи дать ему сегодня лишнюю осьмушку овса.

Лука. Слушаю!

Резкий звонок.

Попова *(вздрагивает.).* Кто это? Скажи, что я никого не принимаю!

Лука. Слушаю-с! *(Уходит.)*

II

Попова *(одна).*

Попова *(глядя на фотографию).* Ты увидишь, Nicolas, как я умею любить и прощать… Любовь моя угаснет вместе со мною, когда перестанет биться мое бедное сердце. *(Смеется, сквозь слезы.)* И тебе не совестно? Я паинька, верная женка, заперла себя на замок и буду верна тебе до могилы, а ты… и тебе не совестно, бутуз? Изменял мне, делал сцены, по целым неделям оставлял меня одну…

III

Попова и Лука.

Лука *(входит, встревоженно).* Сударыня, там кто-то спрашивает вас. Хочет видеть…

Попова. Но ведь ты сказал, что я со дня смерти мужа никого не принимаю?

Лука. Сказал, но он и слушать не хочет, говорит, что очень нужное дело.

Попова. Я не при-ни-ма-ю!

Лука. Я ему говорил, но… леший какой-то… ругается и прямо в комнаты прет… уж в столовой стоит…

Попова *(раздраженно).* Хорошо, проси… Какие невежи!

Лука уходит.

Как тяжелы эти люди! Что им нужно от меня? К чему им нарушать мой покой? *(Вздыхает.)* Нет, видно, уж и вправду придется уйти в монастырь… *(Задумывается.)* Да, в монастырь…

IV

Попова, Лука и Смирнов.

Смирнов *(входя, Луке).* Болван, любишь много разговаривать… Осел! *(Увидев Попову, с достоинством.)* Сударыня, честь имею представиться: отставной поручик артиллерии, землевладелец Григорий Степанович Смирнов! Вынужден беспокоить вас по весьма важному делу…

Попова *(не подавая руки).* Что вам угодно?

Смирнов. Ваш покойный супруг, с которым я имел честь быть знаком, остался мне должен по двум векселям тысячу двести рублей. Так как завтра мне предстоит платеж процентов в земельный банк, то я просил бы вас, сударыня, уплатить мне деньги сегодня же.

Попова. Тысяча двести… А за что мой муж остался вам должен?

Смирнов. Он покупал у меня овес.

Попова *(вздыхая, Луке).* Так ты же, Лука, не забудь приказать, чтобы дали Тоби лишнюю осьмушку овса.

Лука уходит.

(Смирнову.) Если Николай Михайлович остался вам должен, то, само собою разумеется, я заплачу; но, извините, пожалуйста, у меня сегодня нет свободных денег. Послезавтра вернется из города мой приказчик, и я прикажу ему уплатить вам что следует, а пока я не могу исполнить вашего желания… К тому же сегодня исполнилось ровно семь месяцев, как умер мой муж, и у меня теперь такое настроение, что я совершенно не расположена заниматься денежными делами.

Смирнов. Ау меня теперь такое настроение, что если я завтра не заплачу процентов, то должен

буду вылететь в трубу вверх ногами. У меня опишут имение!

Попова. Послезавтра вы получите ваши деньги.

Смирнов. Мне нужны деньги не послезавтра, а сегодня.

Попова. Простите, сегодня я не могу заплатить вам.

Смирнов. А я не могу ждать до послезавтра.

Попова. Что же делать, если у меня сейчас нет!

Смирнов. Стало быть, не можете заплатить?

Попова. Не могу…

Смирнов. Гм!.. Это ваше последнее слово?

Попова. Да, последнее.

Смирнов. Последнее? Положительно?

Попова. Положительно.

Смирнов. Покорнейше благодарю. Так и запишем. *(Пожимает плечами.)* А еще хотят, чтобы я был хладнокровен! Встречается мне сейчас по дороге акцизный и спрашивает: «Отчего вы всё сердитесь, Григорий Степанович?» Да помилуйте, как же мне не сердиться? Нужны мне до зарезу деньги… Выехал я еще вчера утром чуть свет, объездил всех своих должников, и хоть бы один из них заплатил свой долг! Измучился как собака, ночевал черт знает где — в жидовской корчме около водочного бочонка… Наконец приезжаю

сюда, за 70 верст от дому, надеюсь получить, а меня угощают «настроением»! Как же мне не сердиться?

Попова. Я, кажется, ясно сказала: приказчик вернется из города, тогда и получите.

Смирнов. Я приехал не к приказчику, а к вам! На кой леший, извините за выражение, сдался мне ваш приказчик!

Попова. Простите, милостивый государь, я не привыкла к этим странным выражениям, к такому тону. Я вас больше не слушаю. *(Быстро уходит.)*

V

Смирнов *(один).*

Смирнов. Скажите пожалуйста! Настроение… Семь месяцев тому назад муж умер! Да мне-то нужно платить проценты или нет? Я вас спрашиваю: нужно платить проценты или нет? Ну, у вас муж умер, настроение там и всякие фокусы… приказчик куда-то уехал, черт его возьми, а мне что прикажете делать? Улететь от своих кредиторов на воздушном шаре, что ли? Или разбежаться и трахнуться башкой о стену? Приезжаю к Груздеву — дома нет, Ярошевич спрятался, с Курицыным

поругался насмерть и чуть было его в окно не вышвырнул, у Мазутова — холерина, у этой — настроение. Ни одна каналья не платит! А всё оттого, что я слишком их избаловал, что я нюня, тряпка, баба! Слишком я с ними деликатен! Ну, погодите же! Узнаете вы меня! Я не позволю шутить с собою, черт возьми! Останусь и буду торчать здесь, пока она не заплатит! Бр-р!.. Как я зол сегодня, как я зол! От злости все поджилки трясутся и дух захватило... Фуй, боже мой, даже дурно делается! *(Кричит.)* Человек!

VI

Смирнов и Лука.

Лука *(входит).* Чего вам?

Смирнов. Дай мне квасу или воды!

Лука уходит.

Нет, какова логика! Человеку нужны до зарезу деньги, впору вешаться, а она не платит, потому что, видите ли, не расположена заниматься денежными делами!.. Настоящая женская,

турнюрная[25] логика! Потому-то вот я никогда не любил и не люблю говорить с женщинами. Для меня легче сидеть на бочке с порохом, чем говорить с женщиной. Бр-р!.. Даже мороз по коже дерет — до такой степени разозлил меня этот шлейф! Стоит мне хотя бы издали увидеть поэтическое создание, как у меня от злости в икрах начинаются судороги. Просто хоть караул кричи!

VII

Смирнов и Лука.

Лука *(входит и подает воду).* Барыня больны и не принимают.

Смирнов. Пошел!

Лука уходит.

Больны и не принимают! Не нужно, не принимай… Я останусь и буду сидеть здесь, пока не отдашь денег. Неделю будешь больна — и я неделю просижу здесь… Год будешь больна — и я год… Я свое возьму, матушка! Меня не тронешь

---

[25] Примечания: 25
Турнюр — принадлежность женского платья.

трауром да ямочками на щеках… Знаем мы эти ямочки! *(Кричит в окно.)* Семен, распрягай! Мы не скоро уедем! Я здесь остаюсь! Скажешь там на конюшне, чтобы овса дали лошадям! Опять у тебя, скотина, левая пристяжная запуталась в вожжу! *(Дразнит.)* «Ничаво»!.. Я тебе задам — ничаво! *(Отходит от окна.)* Скверно… Жара невыносимая, денег никто не платит, плохо ночь спал, а тут еще этот траурный шлейф с настроением… Голова болит… Водки выпить, что ли? Пожалуй, выпью. *(Кричит.)* Человек!

Лука *(входит).* Что вам?

Смирнов. Дай рюмку водки!

Лука уходит.

Уф! *(Садится и оглядывает себя.)* Нечего сказать, хороша фигура! Весь в пыли, сапоги грязные, не умыт, не чесан, на жилетке солома… Барынька, чего доброго, меня за разбойника приняла. *(Зевает.)* Немножко невежливо являться в гостиную в таком виде, ну, да ничего… я тут не гость, а кредитор, для кредиторов же костюм не писан…

Лука *(входит и подает водку).* Много вы позволяете себе, сударь…

Смирнов *(сердито).* Что?

Лука. Я… я ничего… я, собственно…

Смирнов. С кем ты разговариваешь?! Молчать!

Лука *(в сторону).* Навязался, леший, на нашу голову… Принесла нелегкая…

Лука уходит.

Смирнов. Ах, как я зол! Так зол, что, кажется, весь свет стер бы в порошок… Даже дурно делается… *(Кричит.)* Человек!

VIII

Попова и Смирнов.

Попова *(входит, опустив глаза).* Милостивый государь, в своем уединении я давно уже отвыкла от человеческого голоса и не выношу крика. Прошу вас убедительно: не нарушайте моего покоя!

Смирнов. Заплатите мне деньги, и я уеду.

Попова. Я сказала вам русским языком: денег у меня свободных теперь нет, погодите до послезавтра.

Смирнов. Я тоже имел честь сказать вам русским языком: деньги нужны мне не послезавтра, а

сегодня. Если сегодня вы мне не заплатите, то завтра я должен буду повеситься.

Попова. Но что же мне делать, если у меня нет

денег? Как странно!

Смирнов. Так вы сейчас не заплатите? Нет?

Попова. Не могу...

Смирнов. В таком случае я остаюсь здесь и буду сидеть, пока не получу... *(Садится.)* Послезавтра заплатите? Отлично! Я до послезавтра просижу таким образом. Вот так и буду сидеть... *(Вскакивает.)* Я вас спрашиваю: мне нужно заплатить завтра проценты или нет?.. Или вы думаете, что я шучу?

Попова. Милостивый государь, прошу вас не кричать! Здесь не конюшня!

Смирнов. Я вас не о конюшне спрашиваю, а о том — нужно мне платить завтра проценты или нет?

Попова. Вы не умеете держать себя в женском обществе!

Смирнов. Нет-с, я умею держать себя в женском обществе!

Попова. Нет, не умеете! Вы невоспитанный, грубый человек! Порядочные люди не говорят так с женщинами!

Смирнов. Ах, удивительное дело! Как же прикажете говорить с вами? По-французски, что ли? *(Злится и сюсюкает.)* Мадам, же ву при[26]...

---

[26] Примечания: 26

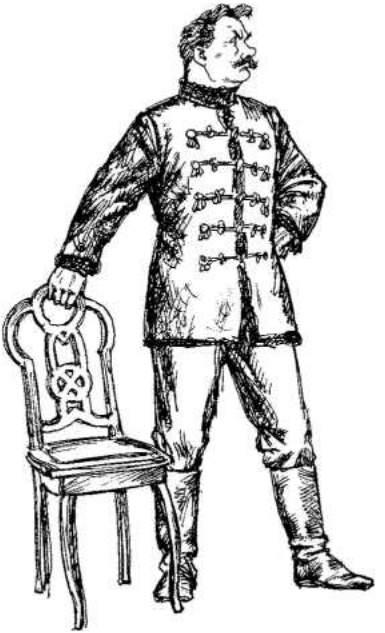
Я вас прошу (*фр.* je vous prie).

как я счастлив, что вы не платите мне денег... Ах, пардон, что обеспокоил вас! Такая сегодня прелестная погода! И этот траур так к лицу вам! *(Расшаркивается.)*

Попова. Не умно и грубо.

Смирнов *(дразнит.)* «Не умно и грубо»! Я не умею держать себя в женском обществе! Сударыня, на своем веку я видел женщин гораздо больше, чем вы воробьев! Три раза я стрелялся на дуэли из-за женщин, двенадцать женщин я бросил, девять бросили меня! Да-с! Было время, когда я ломал дурака, миндальничал, медоточил, рассыпался бисером, шаркал ногами... Любил, страдал, вздыхал на луну, раскисал, таял, холодел... Любил страстно, бешено, на всякие манеры, черт меня возьми, трещал, как сорока, об эмансипации, прожил на нежном чувстве половину состояния, но теперь — слуга покорный! Теперь меня не проведете! Довольно! Очи черные, очи страстные, алые губки, ямочки на щеках, луна, шепот, робкое дыханье — за все это, сударыня, я теперь и медного гроша не дам! Я не говорю о присутствующих, но все женщины, от мала до велика, ломаки, кривляки, сплетницы, ненавистницы, лгунишки до мозга костей, суетны, мелочны, безжалостны, логика возмутительная, а что касается вот этой

штуки *(хлопает себя по лбу),* то, извините за откровенность, воробей любому философу в юбке может дать десять очков вперед! Посмотришь на иное поэтическое созданье: кисея, эфир, полубогиня, миллион восторгов, а заглянешь в душу — обыкновеннейший крокодил! *(Хватается за спинку стула, стул трещит и ломается.)* Но возмутительнее всего, что этот крокодил почему-то воображает, что его шедевр, его привилегия и монополия — нежное чувство!



Да черт побери совсем, повесьте меня вот на этом гвозде вверх ногами — разве женщина умеет любить кого-нибудь, кроме болонок?.. В любви она умеет только хныкать и распускать нюни! Где мужчина страдает и жертвует, там вся ее любовь выражается только в том, что она вертит шлейфом и старается покрепче схватить за нос. Вы имеете несчастье быть женщиной, стало быть,

по себе самой знаете женскую натуру. Скажите же мне по совести: видели ли вы на своем веку женщину, которая была бы искренна, верна и постоянна? Не видели! Верны и постоянны одни только старухи да уроды! Скорее вы встретите рогатую кошку или белого вальдшнепа, чем постоянную женщину!

Попова. Позвольте, так кто же, по-вашему, верен и постоянен в любви? Не мужчина ли?

Смирнов. Да-с, мужчина!

Попова. Мужчина! *(Злой смех.)* Мужчина верен и постоянен в любви! Скажите, какая новость! *(Горячо.)* Да какое вы имеете право говорить это? Мужчины верны и постоянны! Коли на то пошло, так я вам скажу, что из всех мужчин, каких только я знала и знаю, самым лучшим был мой покойный муж… Я любила его страстно, всем своим существом, как может любить только молодая мыслящая женщина; я отдала ему свою молодость, счастье, жизнь, свое состояние, дышала им, молилась на него, как язычница, и… и — что же? Этот лучший из мужчин самым бессовестным образом обманывал меня на каждом шагу! После его смерти я нашла в его столе полный ящик любовных писем, а при жизни — ужасно вспомнить! — он оставлял меня одну по целым

неделям, на моих глазах ухаживал за другими женщинами и изменял мне, сорил моими деньгами, шутил над моим чувством… И несмотря на все это, я любила его и была ему верна… Мало того, он умер, а я все еще верна ему и постоянна. Я навеки погребла себя в четырех стенах и до самой могилы не сниму этого траура…

Смирнов *(презрительный смех).* Траур!.. Не понимаю, за кого вы меня принимаете? Точно я не знаю, для чего вы носите это черное домино и погребли себя в четырех стенах! Еще бы! Это так таинственно, поэтично! Проедет мимо усадьбы какой-нибудь юнкер или куцый поэт, взглянет на окна и подумает: «Здесь живет таинственная Тамара, которая из любви к мужу погребла себя в четырех стенах». Знаем мы эти фокусы!

Попова *(вспыхнув).* Что?! Как вы смеете говорить мне все это?

Смирнов. Вы погребли себя заживо, однако вот не позабыли напудриться!

Попова. Да как вы смеете говорить со мною таким образом?

Смирнов. Не кричите, пожалуйста, я вам не приказчик! Позвольте мне называть вещи настоящими их именами. Я не женщина и привык высказывать свое мнение прямо! Не извольте

же кричать!

Попова. Не я кричу, а вы кричите! Извольте оставить меня в покое!

Смирнов. Заплатите мне деньги, и я уеду.

Попова. Не дам я вам денег!

Смирнов. Нет-с, дадите!

Попова. Вот назло же вам, ни копейки не получите! Можете оставить меня в покое!

Смирнов. Я не имею удовольствия быть ни вашим супругом, ни женихом, а потому, пожалуйста, не делайте мне сцен. *(Садится.)* Я этого не люблю.

Попова *(задыхаясь от гнева).* Вы сели?!

Смирнов. Сел.

Попова. Прошу вас уйти!

Смирнов. Отдайте деньги... *(В сторону.)* Ах, как я зол! Как я зол!

Попова. Я не желаю разговаривать с нахалами! Извольте убираться вон!

Пауза.

Вы не уйдете? Нет?

Смирнов. Нет.

Попова. Нет?

Смирнов. Нет!

Попова. Хорошо же! *(Звонит.)*

IX

Те же и Лука.

Попова. Лука, выведи этого господина!

Лука *(подходит к Смирнову).* Сударь, извольте уходить, когда велят! Нечего тут…

Смирнов *(вскакивая).* Молчать! С кем ты разговариваешь? Я из тебя салат сделаю!

Лука (*хватается за сердце).* Батюшки!.. Угодники!.. *(Падает в кресло.)* Ох, дурно, дурно! Дух захватило!

Попова. Где же Даша? Даша! *(Кричит.)* Даша! Пелагея! Даша! *(Звонит.)*

Лука. Ох! Все по ягоды ушли… Никого дома нету… Дурно! Воды!

Попова. Извольте убираться вон!

Смирнов. Не угодно ли вам быть повежливее?

Попова *(сжимая кулаки и топая ногами).* Вы мужик! Грубый медведь! Бурбон! Монстр!

Смирнов. Как? Что вы сказали?

Попова. Я сказала, что вы медведь, монстр!

Смирнов *(наступая).* Позвольте, какое же вы имеете право оскорблять меня?

Попова. Да, оскорбляю… Ну так что же? Вы дума-

ете, я вас боюсь?

Смирнов. А вы думаете, что если вы поэтическое создание, то имеете право оскорблять безнаказанно? Да? К барьеру!

Лука. Батюшки!.. Угодники!.. Воды!

Смирнов. Стреляться!

Попова. Если у вас здоровые кулаки и бычье горло, то, думаете, я боюсь вас? А? Бурбон вы этакий!

Смирнов. К барьеру! Я никому не позволю оскорблять себя и не посмотрю на то, что вы женщина, слабое создание!

Попова^*стараясь перекричать).* Медведь! Медведь! Медведь!

Смирнов. Пора, наконец, отрешиться от предрассудка, что только одни мужчины обязаны платить за оскорбления! Равноправность так равноправность, черт возьми! К барьеру!

Попова. Стреляться хотите? Извольте!

Смирнов. Сию минуту!

Попова. Сию минуту! После мужа остались пистолеты… Я сейчас принесу их сюда… *(Торопливо идет и возвращается.)* С каким наслаждением я влеплю пулю в ваш медный лоб! Черт вас возьми! *(Уходит.)*

Смирнов. Я подстрелю ее, как цыпленка! Я не мальчишка, не сентиментальный щенок, для

меня не существует слабых созданий!

Лука. Батюшка родимый!.. *(Становится на колени.)* Сделай такую милость, пожалей меня, старика, уйди ты отсюда! Напужал до смерти да еще стреляться собираешься!

Смирнов *(не слушая его).* Стреляться — вот это и есть равноправность, эмансипация! Тут оба пола равны! Подстрелю ее из принципа! Но какова женщина? *(Дразнит.)* «Черт вас возьми… влеплю пулю в медный лоб»! Какова? Раскраснелась, глаза блестят… Вызов приняла! Честное слово, первый раз в жизни такую вижу…

Лука. Батюшка, уйди! Заставь вечно Бога молить!

Смирнов. Это — женщина! Вот это я понимаю! Настоящая женщина! Не кислятина, не размазня, а огонь, порох, ракета! Даже убивать жалко!

Лука (*плачет).* Батюшка… родимый, уйди!

Смирнов. Она мне положительно нравится! Положительно! Хоть и ямочки на щеках, а нравится! Готов даже долг ей простить… и злость прошла… Удивительная женщина!

X

Те же и Попова.

Попова *(входит с пистолетами).* Вот они, пистолеты… Но прежде чем будем драться, вы извольте показать мне, как нужно стрелять… Я ни разу в жизни не держала в руках пистолета.

Лука. Спаси, Господи, и помилуй… Пойду садовника и кучера поищу… Откуда эта напасть взялась на нашу голову… *(Уходит.)*

Смирнов *(осматривая пистолеты).* Видите ли, существует несколько сортов пистолетов… Есть специально дуэльные пистолеты Мортимера, капсюльные. А это у вас револьверы системы «Смит и Вессон», тройного действия с экстрактором, центрального боя… Прекрасные пистолеты!.. Цена таким минимум 90 рублей за пару… Держать револьвер нужно так… *(В сторону.)* Глаза, глаза! Зажигательная женщина!

Попова. Так?

Смирнов. Да, так… Засим вы поднимаете курок… вот так прицеливаетесь… Голову немножко назад! Вытяните руку как следует… Вот так… Потом вот этим пальцем надавливаете эту штучку — и

больше ничего… Только главное правило: не горячиться и прицеливаться не спеша… Стараться, чтоб не дрогнула рука.

Попова. Хорошо… В комнатах стреляться неудобно, пойдемте в сад.

Смирнов. Пойдемте. Только предупреждаю, что я выстрелю в воздух.

Попова. Этого еще недоставало! Почему?

Смирнов. Потому что… потому что… Это мое дело почему!

Попова. Вы струсили? Да? А-а-а-а! Нет, сударь, вы не виляйте! Извольте идти за мною! Я не успокоюсь, пока не пробью вашего лба… вот этого лба, который я так ненавижу! Струсили?

Смирнов. Да, струсил.

Попова. Лжете! Почему вы не хотите драться?

Смирнов. Потому что… потому что вы… мне нравитесь.

Попова *(злой смех).* Я ему нравлюсь! Он смеет говорить, что я ему нравлюсь! *(Указывает на дверь.)* Можете!

Смирнов *(молча кладет револьвер, берет фуражку и идет; около двери останавливается, полминуты оба молча глядят друг на друга; затем он говорит, нерешительно подходя к Поповой).* Послушайте… Вы все еще сердитесь?.. Я тоже чер-

товски взбешен, но, понимаете ли… как бы этак выразиться?.. Дело в том, что, видите ли, такого рода история, собственно говоря… *(Кричит.)* Ну, да разве я виноват, что вы мне нравитесь? *(Хватается за спинку стула, стул трещит и ломается.)* Черт знает какая у вас ломкая мебель! Вы мне нравитесь! Понимаете? Я… я почти влюблен!

Попова. Отойдите от меня: я вас ненавижу!

Смирнов. Боже, какая женщина! Никогда в жизни не видал ничего подобного! Пропал! Погиб! Попал в мышеловку, как мышь!

Попова. Отойдите прочь, а то буду стрелять!

Смирнов. Стреляйте! Вы не можете понять, какое счастие умереть под взглядами этих чудных глаз, умереть от револьвера, который держит эта маленькая бархатная ручка… Я с ума сошел! Думайте и решайте сейчас, потому что если я выйду отсюда, то уж мы больше никогда не увидимся! Решайте… Я дворянин, порядочный человек, имею десять тысяч годового дохода… попадаю пулей в подброшенную копейку… имею отличных лошадей… Хотите быть моею женой?

Попова *(возмущенная, потрясает револьвером).* Стреляться! К барьеру!

Смирнов. Сошел с ума… Ничего не понимаю… *(Кричит.)* Человек, воды!

Попова *(кричит).* К барьеру!

Смирнов. Сошел с ума, влюбился, как мальчишка, как дурак! *(Хватает ее за руку, она вскрикивает от боли.)* Я люблю вас! *(Становится на колени.)* Люблю, как никогда не любил! Двенадцать женщин я бросил, девять бросили меня, но ни одну из них я не любил так, как вас… Разлимонился, рассиропился, раскис… Стою на коленях как дурак и предлагаю руку… Стыд, срам! Пять лет не влюблялся, дал себе зарок — и вдруг втюрился, как оглобля в чужой кузов! Руку предлагаю. Да или нет? Не хотите? Не нужно! *(Встает и быстро идет к двери.)*

Попова. Постойте…

Смирнов *(останавливается).* Ну?

Попова. Ничего, уходите… Впрочем, постойте… Нет, уходите, уходите! Я вас ненавижу! Или нет… Не уходите! Ах, если бы вы знали, как я зла, как я зла! *(Бросает на стол револьвер.)* Отекли пальцы от этой мерзости… *(Рвет от злости платок.)* Что же вы стоите? Убирайтесь!

Смирнов. Прощайте.

Попова. Да, да, уходите!.. *(Кричит.)* Куда же вы? Постойте… Ступайте, впрочем. Ах, как я зла! Не подходите, не подходите!

Смирнов *(подходя к ней).* Как я на себя зол! Влюбил-

ся, как гимназист, стоял на коленях… Даже мороз по коже дерет… *(Грубо.)* Я люблю вас! Очень мне нужно было влюбляться в вас! Завтра проценты платить, сенокос начался, а тут вы… *(Берет ее за талию.)* Никогда этого не прощу себе…

Попова. Отойдите прочь! Прочь руки! Я вас… ненавижу! К ба… барьеру!

Продолжительный поцелуй.

XI

Те же, Лука с топором, садовник с граблями, кучер с вилами и рабочие с дрекольем.

Лука *(увидев целующуюся парочку).* Батюшки!

Пауза.

Попова *(опустив глаза).* Лука, скажешь там, на конюшне, чтобы сегодня Тоби вовсе не давали овса.

Занавес